

Марина Москвина

Три стороны камня

Роман

Нет более соблазнительного дерзновения для человеческого сердца, чем попытка понять стершиеся человеческие следы, которые вдруг являются перед ним и обращаются к нему.

Эмилио Бетти

У меня душа как-то некрепко держится за тело. Любой внезапный переполох может вытряхнуть из меня душу, и даже в мелочах — стоит мне споткнуться на бегу, глядь, она парит в вышине. Особенно этому способствуют любовь и алкоголь. При этом, как только бывает в кино или во сне, тело мягко и расслабленно опускается на землю.

Первый раз это случилось в Юрмале на детской площадке, среди медовых лип и корабельных сосен с зарослями черники у корней, наполнявших воздух запахами смолы и нагретой хвои. Крутилась карусель, и мой дорогой мальчик с ветерком летел по кругу да еще раскачивался, ибо это были качели-карусели. Солнце клонилось к закату, на тот момент оказавшись на уровне глаз, и всё было видно контражуром.

Карусель остановилась, а когда я потянулась к ребенку, она вдруг поехала с музыкой хрустальной. Меня ударило по лбу железной балкой, и я увидела себя лежащей лицом к небу, раскинув руки, крутились трубы, громыхая и скрипя, наверно, снизу напоминая адскую машину, а сверху — праздничную иллюминацию, кружащую под наигрыш волшебный.

Передо мной уж мерцали белые фигуры, исполненные любви. Они как будто совещались и были очень притягательны, из чего я заключила, что небесное притяжение, пожалуй, посильнее земного. Внизу мелькнуло испуганное лицо мальчика. И я мгновенно обнаружила себя сидящей на скамейке, на лбу вздувается здоровенная шишка, а Павел побежал играть дальше — подумаешь, только шишка и больше ничего.

Это был период, когда мир явно пребывал со мной в раздоре. Все время северный ветер какой-то злой, даже летом, нервы на пределе, люди представлялись мне сборищем отщепенцев и фриков, иногда утром я просыпалась в полнейшем отчаянии без всякой видимой причины.

Марина Москвина — прозаик, автор многих книг для детей и взрослых, в том числе романов «Гений безответной любви», «Роман с Луной», «Мусорная корзина для Алмазной сутры», «Крио», а также книг о путешествиях в Японию, Индию, Гималаи и Арктику. Лауреат и финалист многочисленных литературных премий. Постоянный автор «ДН».

Предыдущая публикация в нашем журнале — «Глория мунди» (2018, № 2; премия «ДН» за лучший рассказ года).

Журнальный вариант.

Роман Марины Москвиной «Три стороны камня» выходит в «Редакции Елены Шубиной» издательства АСТ в начале 2022 года.

Да и что тут веселиться-то, когда кругом наводнения, землетрясения, тайфуны, черная дыра поглощает материю, антивещество пожирает вещество, брахманы прекратили творить молитвы, народы впали в варварство, всю ночь над ухом зудят комары, по улицам стаями бродят сумасшедшие, в раздолбанных автомобильчиках — шудры. Всюду слышатся пьяные крики, мат-перемат, из окон доносится перебранка. Встанешь на трамвайной остановке — рядом бабуля в мини-юбке, в панаме, ярко накрашенная, с искусственной косой, бледный слепой с коломенскую версту нащупывает посохом сквозь толпу дорогу к трамваю...

Я даже затеяла окреститься, пошла в храм на Петровке, а там священником — отец Михаил, душа-человек, я ему рассказала про свою беду, а он вдруг так жарко зашептал:

— Вы счастливица в сравнении со мной. Мне надо принимать исповедь, причащать, благословлять, а на уме: «Да будьте вы неладны!» или, что еще хуже: «Чтоб вы сдохли все...» Хоть снимай ризу и меняй работу!

В смятении вернулась я домой. А мои окна выходят на Бутырскую тюрьму. Нет-нет и поглядываешь, не собрались ли семь Ангелов, имеющие семь труб, вострубить и не летит ли на землю звезда, которой был дан ключ от кладезя бездны?

Хотя мой приятель Флавий считал подобный вид из окна благословенным, ибо он развивает у квартиранта философское отношение к жизни.

— Еще лучше, если б твои окна выходили на крематорий, — заявлял он мечтательно, — что напоминало бы о бренности бытия...

Своим благозвучным именем друг мой обязан мамочке, та много лет заведовала сектором икон в Третьяковской галерее, Агнесса Шимановская, специалист по Страшному Суду.

— Я только запаматовала, — бормотала она, спустя много лет, уже старенькая, седая, всегда всем ужасно недовольная, — в честь кого именно я назвала сынулю? Флавия Иосифа? Флавия Аэция? Флавия Стилихона?.. Ромула?.. Филострата?.. Вегеция Рената? Флавия Клавдия Юлиана или Флавия Севера?

Верней всего — Иосифа, поскольку сестрица Флавия Сибилла тоже отхватила имечко дай боже, но эта уж, никаких сомнений, — наследовала незабвенной королеве Иерусалимской.

— Когда Амори, сын Фулька Анжуйского и Агнес де Куртенэ, взошел на трон Иерусалимского королевства, — говорила низким голосом, контральто, их царственная мать, — его брак объявлен был недействительным по причине кровного родства. Но Сибиллу и ее брата Балдуина, после долгих и нудных препирательств, с большой натяжкой и оговорками, объявили законными детьми...

Одна радость, Шимановская не одарила сына звучным именем Балдуин, чем обрекла бы его на пожизненное прозвище Балда. А Флавий — однокашники и так пытались вывернуть, и эдак, все головы сломали, — оно неприступно высилось как монолит, не поймешь из какого сплава, отполированный до блеска.

Притом Шимановская утверждала, что родом они из деревни Похолуево Рязанской области, и Флавий с годами стал вылитый дед Похолуев — такой же раздолбай, Царствие ему Небесное. А на меня порой неодобрительно косилась и спрашивала прямо в лоб:

— Райка, ты еврейка?

На что я сызмальства неизменно отвечаю:

— Уже да!

С намеком: с кем поведешься, от того и наберешься.

Однако Шимановская, глядя на меня как царь сами знаете на кого, не раз объявляла, что в жилах ее семьи течет исключительно славянская кровь без малейших примесей, и вся их компания от кончика носа до кончика хвоста — русские, а именно: бабушка Иовета, сама Агнес, два ее отпрыска Флавий и Сибилла вкупе с отцом

Амори Мануилом, предложившим руку любимой дочери графу Стефану Сансерскому, но Стефан — тот еще обалдуй, не хуже деда Похолуева, из-за какой-то вассальной клятвы, данной римскому императору, которую пришлось бы расторгнуть, стань он королем Иерусалимским, — отказался от своего счастья. О чем все, конечно, горевали, ибо Сибилла имела странную особенность, причем никто понятия не имел, что с этим делать, — бедняжка непрерывно росла, будучи уже совсем взрослой.

И кто это вынужден терпеть? Я, дочь Софьи Андреевны, дочери Екатерины Фёдоровны, дочери Аграфены Евдокимовны, потомок фабрикантов Абрикосовых, которым принадлежало пол-Москвы — особняки, богадельни, заводы и пароходы, а главное — прославленная кондитерская фабрика немыслимого масштаба деятельности: товарищество «Алексей Абрикосов и сыновья», оборудованное по последнему слову техники, в том числе и паровыми машинами. Потом ее переименовали, и она стала фабрикой имени революционера Бабаева.

Да как она смеет так со мной разговаривать, эта Шимановская, если в зените славы мой прапрадед Алексей Иванович Абрикосов получил звание Поставщика двора Его Императорского Величества!

Нет, я ни в коей мере не умаляю величие деда Похолуева, всеми правдами и неправдами уберегшего чистоту славянских кровей, просто благодаря моему излишне длинному носу, а также непроходимой тоске во взоре, меня частенько принимают за представителя избранного народа, и, как Человеку Мира, это не то чтобы обидно, это злит как не знаю что!

И сны, сны одолевают меня, запоминаясь во всех подробностях, как правило, невесомые и бесплотные, а тут неожиданно — ярко так, реально привиделось облако, в котором бушевал пламень, а в пламени — колесница с крылатыми животными, имевшими каждое четыре лица: одно — человека, другое — льва, третье смахивало на орлиное, а четвертое — то ли агнец, то ли еще кто-то в этом роде.

— А перед лицами — колеса, усеянные очами? — спросила Агнес, когда я рассказала им с Флавием о своем видении. — Ты у нас просто пророк Иезекииль! Райка и внешне смахивает на Иезекииля, ты не находишь? — спросила она у Флавия.

— Конечно: у них, у русских, лицо капустой, нос картошкой, — сказала я, зарекаясь с ней обсуждать что-либо, касательное таких тонких материй.

К тому же Агнесс побаивалась, что Флавий женится на мне и я буду претендовать на ее жилплощадь. На кой мне сдалось их ласточкино гнездо под стрехой, блочная пятиэтажка в Марьино, когда я всю юность прожила в квартире, где до революции вольготно располагались мои родовитые предки.

Дом наш стоял на высоком берегу Яузы — священное место, Лыщикова гора, Николаямская улица, сколько там было купеческих домов, особнячки, дворцы и церкви, все сметено, уцелела одна церквушка Покрова Богородицы, единственная в Москве несмолкающая веками звонница; две колокольни звонили после злополучного октября: Ивана Великого в Кремле и наша, это примерно четыре остановки на троллейбусе до моей бабули Кати.

Дом Абрикосова — вычурной конструкции с излишками архитектуры: балясины, увенчанные гроздьями винограда, широченная парадная лестница, чугунные перила, пять с лишним метров потолка (практичные жильцы громоздили над головами второй этаж, прилаживая винтовую лесенку), анфилада комнат и коридор с шикарным дубовым паркетом ромбиками, уходящий в бесконечность.

Как это ни удивительно, пращур мой, Абрикосов, радостно приветствовал революционные бури. До октября семнадцатого года в его домашнем дневнике встречаются такие записи: «Послал Осипа за маслом, просто хлеб с черной икрой не так хорош...» После февральского восстания появятся вольнолюбивые строки: «А может, и славно, что нет никакого царя?» А после Октября из этого же дневничка

мы узнаём, что Ося, высунув язык и утирая пот со лба, сидел на кухне, выводил какие-то каракули. Старик хотел помочь, поскольку тот неграмотный.

— Пишите, барин, — сказал Осип. — «В совет рабочих и солдатских депутатов. Заявление. Семья Абрикосовых по адресу Николаямская дом 8 занимает слишком много комнат, их надобно прикатать...»

Домовладельца уплотнили, оставили одну гостиную, и ту разделили фанерой пополам, а благородное семейное гнездо превратили в пчелиные соты. Но папочка — правнук Абрикосова — Абрикосов Альберт Вениаминович, выдающийся физик и математик, — был благодушен, миролюбив, он мне говорил:

— Всегда надо разговаривать друг с другом вежливо. А в критических случаях — особенно вежливо: «Дорогой сэръ, вы позволили себе в мой адрес... Когда будем стреляться, сэръ?» — «В среду сэръ...» — А не: «Ах ты, сволочь, мерзавец, подонок, свинья...» Кстати, «свинья», — объяснял он мне, — означало трусость и отсутствие воинской доблести — всего лишь!

И рассказывал, что у них в доме перед войной был жутко приставучий дворник, жильцы с ним ругались, посылали куда подальше, а он оказался осведомителем НКВД. Весь дом пересажал — кроме нашего папы, который с младых ногтей один ему говорил всегда:

— Здравствуйте, Кондрат Егорович, как поживаете?

Только папочка и остался, его не тронули.

Похоже, над нашим родом простиер крыла ангел: о всех судить не берусь — у пращура было двадцать два ребенка. В лучшие свои времена фамильный клан насчитывал сотню, а то и больше, благоденствующих плодов раскидистого древа Абрикосовых. Кто-то вовремя покинул эту страну, как загоревшуюся одежду, кто-то раздал свои богатства, переименовал имя и с котомкой двинулся по Руси.

Зато на нашем стволике с ближайшими ответвлениями старики во благовремение умирали в своей постели, что было недостижимой роскошью по тем временам. Каждая личная история заканчивалась хеппи-эндом — если про человека можно было сказать: он много пережил невзгод, но умер в своей постели.

Справа на стенке висел общественный телефон. Перед телефоном — три комнаты с паркетом, элитные, где обитали я, мамочка и папа, те самые Абрикосовы, плоть от плоти, но это не афишировалось, тут же за фанерной кулисой (половинка двери наша, половинка — невестки Льва Толстого, неясно по какой линии) — Екатерина Васильевна Толстая, совершенно седая, прямая, худошавая в синем халате.

Дальше — надменная Лидия Петровна, интеллигентная дама, выходец из мелкобуржуазной семьи, вдова академика Магницкого, химика и металлурга, единственного, как говорила Лидия Петровна, «беспартийного друга Сталина». У той все отдельное: мраморный рукомоинчик с белым эмалированным кувшином, личный телефон и светлая просторная комната с видом на проезжую часть. Перед ее окнами ездили троллейбусы, это считалось шиком, и там всегда было солнце!

К Лидии Петровне часто приходили серьезные люди в длинных габардиновых пальто и шляпах, она устраивала респектабельные приемы. На стенках фотографии: Магницкий с Папаниным, с академиком Павловым, Гербертом Уэллсом. Повсюду в комнате лежали памятные альбомы, стопки рукописных листов, испещренных химическими формулами.

По утрам Лидия Петровна и графиня Толстая оживленно беседовали на кухне по-французски, обсуждая что-то, не предназначенное для ушей советских обывателей вроде дремучего таксиста Гарри и его супруги Антонины, милиционерши, очень властной, фанатично преданной своей профессии, с лицом боярыни Морозовой, только художника Сурикова не хватало — запечатлеть ее суровые черты.

А впрочем, был у нас и художник. Если от входной двери шагать по «главной улице с оркестром» — увешанной лыжами, корытами и тазами, мимо великого и ужасного гардероба, хранителя никому не нужного барахла, на самом краю нашего перегруженного ковчега, на излете кормы, где в дощатом аппендиксе стрекотала пара сушеных кузнечиков, бывшая прислуга — столетние Надюша и Зинуля, считай, в бортовой щели, по оплошке не законопаченной Ноем, — с некоторых пор тулился живописец Илья Золотник, Илья свет Матвеевич, божий человек.

По причине крайне малогабаритного жилья свои картины Золотник ваял исключительно по вертикали. Вынужденная вертикаль формировала устойчивую тематику — это была мистерия, даже, я бы сказала, разгул вознесения. Размытые и неясные образы будто появлялись из влажной темноты сумерек, легко преодолевая гравитацию, устремлялись ввысь, решительно покончив с делами на Земле, отзываясь на властный зов Вселенной.

Что, в общем-то, удивительно, как я сейчас понимаю, ведь так или иначе художник на картине изображает себя самого, неважно, в букете, пейзаже или натюрморте. Я уж не говорю об автопортретах — Леонардо, Эль Греко, Ван-Гога с отхваченным ухом, — но даже близкий мне по местожительству «Тюремный дворик» или «Виноградники в Арле», вплоть до абстракций Пикассо!

Илья же Матвейч внешность имел рельефную, несколько даже пингвинью: неуклюжее тело при маленьком росте, круглая голова, курносый нос, вывернутые губы, крохотные глазки-незабудки, а над этой неизбывной голубизной нависал громадный покатый лоб, как омытая волнами скала над водоемом.

Сократовскую его оболочку никак не отражали вытянутые бесплотные сущности, которые на полотнах едва различал глаз, поскольку цветовая гамма Ильи Матвейча имела оттенки тонкой мути, серых берегов, тумана и слепой шири. Никто не мог сказать наверняка, долетал ли дотуда глас небес. Больше того, некоторые люди, видевшие многодельные творения Золотника, готовы были поклясться, что на холсте вообще ничего нет!

Вранье, вранье, там что-то проступало, сквозило и просвечивало, какой-то волновой энергетический узор, похожий на зубастое крыло, которое вцеплялось в грудь, тянуло вверх за фалды, а может, пару плотоядных крыльев, схвативших за спину... Толчок, удар, прорыв, распахнутая дверь в неведомое мглистое пространство, его непроницаемую мощь и одновременно полную прозрачность, беззащитность, выписывал Золотник с великим усердием.

Какая цепь событий привела его в наши палестины? О своих подвигах в миру Илья Матвейч рассказывал смачно, колоритно, приняв на грудь, как дополнение к этой счастливой жизни — в качестве гастрономического удовольствия. И не только! Выпивка в случае Ильи Матвейча несла духовную нагрузку, сулила теплое застолье, где провозглашают заздравные тосты, вспоминают прошлое, говорят друг другу приятные слова.

Собирались у нас за большим овальным столом с ореховой столешницей, будто бы вросшем резными львиными лапами в паркет, папа называл его обломком тихоокеанского лайнера *Абрикосов и Ко* (одна радость, — он добавлял, — хорошие соседи!), всем миром накрывали поляну, в центре которой по особо торжественным случаям красовалась малосольная скумбрия «кисти Золотника».

В ближайшем продовольственном Илья Матвейч покупал свежую рыбину, потрошил, обезглавливал, чистил, брал за хвост и двумя-тремя точными движениями срезал мякоть. Пахучую рыбную субстанцию Золотник укладывал в миску, туда сыпал соль, сахар, черный молотый перец, свежий зеленый лучок («В альянсе с зеленым луком серебристая скумбрия смотрится особенно живописно!»), поверх — тарелку с гнетом — круглым тяжеленьким голышом с озера Балхаш.

На Балхаше Илья Матвейч во времена оны проходил армейскую службу в секретнейшем городе Приозёрске, где и познакомился с Митей Осмёркиным, родственником того Осмёркина знаменитого из «Бубнового валета» (те же штаны, шутил Илья Матвейч, только наизнанку), взволнованным певцом родного подмосковного поселка Перхушково, точнее, сосны на его окраине.

Илья Матвейч служил завклубом, а Митя «фершелом», но рисовал как заведенный «Сосну в Перхушково». Он рисовал ее по памяти, под чистым небом, кроной в облаках, в лиловых сумерках, бурлящей жизнью, с грачами, галками, воронами, как Митя выражался, мелкой птичьей сволочью. Над ними проплывали солнце и луна, раскачивали ветки ветры, пронизывали звездные лучи.

— А тут Балхаш! — солировал Илья Матвейч. — И если, дорогие вы мои, не поленишься и взглянуть на карту, вы все заплачете — такая там вокруг жаровня ада. Шаг в сторону — и по колено ты в пыли, второй — по пояс. Третий шаг — и ты в объятиях пустыни. Зима — всё та же пыль и сорок градусов мороза. Как только в этой преисподней водятся фаланги?! Проснешься утром — он, мохнатенький, пригрелся под бочком, стряхнешь его и думаешь: ну ладно, хрен с тобой. Они тут ядовитые, но не смертельные, не то что в Джекказгане...

— Да и зачем ему кусать Илюшу, — вступает в разговор Осмёркин, — если под мышкой у Ильи он, считай, у Христа за пазухой?

— Выйдешь к воде, озеро без берегов, штормит, волны — с пятиэтажку — вдребезги бьются о скалы, — когда Илья Матвейч выпивал, то изумительно держал компанию. — А ты стоишь на этих вот камнях — в горле ком, ты: «Мать перемать!!!» — орешь наперекор волнам. И только скалы, тучи, ветер и песок слышат твою песню.

Он был чистейшим гением и знал это. Ни выставок, ни славы, ни продаж, естественно, он постоянно где-нибудь работал.

— У меня трудовая книжка — трехтомная, — слегка фанфаронил Илья Матвейч. — Первая — на казахском языке. Три пухлые книжищи! С их потрепанных страниц встает во весь исполинский рост моя героическая биография. Я только в космосе не бывал, хотя на мне испытывали скафандр, потому что мы антропологически похожи с одним космонавтом, не буду разглашать его громкого имени. Серьезные люди из Института космических исследований предложили мне провести этот эксперимент, я с ними познакомился на шабашке: «Если выживешь, — они сказали прямо, — тогда он тоже вернется на Землю».

Мы всей квартирой думали да гадали, что за колобок такой выискался среди покорителей космоса, наверно, Алексей Леонов, тем более что в рассказе присутствовала одна нелицеприятная деталь: когда все завертелось, закрутилось и помчалось колесом, вышняя реальность оказалась не совсем такой, нежели соратники по шабашке смоделировали на Земле. В открытом космосе опробованный на Илье скафандр *на хрен* деформировался, и только чудом его космического дублера не поглотила клокочущая Вселенная.

— Понимаете, дорогие мои, воспоминания — это что-то феерическое, — говорил Золотник, опрокидывая стопочку, закусывая малосольным огурцом.

После чего обыкновенно следовал рассказ о сказочной удаче, которая сопровождала каждый шаг Ильи Матвейча, особенно подшофе.

Родился он в Барнауле, почти там не жил, а только впитал в себя бело-серые краски разлившейся Оби, серо-лиловую, болотную — наводнения на Барнаулке, ореховую — пустырей, искрасна-черноватые тени землянок — сараев, сложенных из досок, фанерных шкафов и панцирных сеток от кроватей, зеленую землю огородов, белильце привязанной к колышку козы, сизые клубы дыма, валившие из трубы спичечной фабрики.

Запомнил мотогонки по отвесной стене бродячего шапито, устроившего

представление в храме Дмитрия Ростовского, тощего клоуна Алекса и безрукого иллюзиониста, тот показывал фокусы ногами, это было потрясающе!

И в Барнауле, и в Камне-на-Оби, где Золотник провел детство, — да не в самом, а под Камнем, в Соснинской заимке в районе Острой сопки, станция Большая речка, — по улице на работу возили пленных японцев.

Мальчишки бежали за полуторками, бросали камни с комками грязи, кричали: «Япошки! Япошки!» А те — голодные, грязные, оборванные, ни живы ни мертвы — улыбались из мутных окон. Поверженные воины доблестной Квантунской армии валили лес, прокладывали железные дороги, строили поселки, гнули хребет на шахтах и заводах, болели, умирали — казалось, это лучше, чем лежать убитыми, как сотня тысяч их собратьев на сопках Маньчжурии.

Громче всех «япошки, япошки» кричали китайцы, дети эмигрантов, они потом дружно исчезли, когда образовалась Китайская Народная Республика во главе с Мао Цзедунем, уехали — и с концами.

— Откуда мне было знать, — вздыхал Золотник, служивший одно время развесчиком картин в Музее восточных искусств, — что у меня потом будет к японцам совсем другое, адекватное, отношение...

В Соснинке, чуть не под окном, грохотала горная речушка Улала, норовистый приток Маймы — очень холодная, он хорошо помнил, хотя ему не было и года, когда его отец брал на руки, входил и окунал Илью Матвеича в ее ледяные воды.

— Вся цивилизация пошла от нашей Улалушки, — с гордостью говорил Золотник, — а не из какой-то из Африки. Хотя там у нас — дыра дырой! Но не в этом суть!

Суть же в том, что Илья Матвеич отвратительно учился в школе. Только рисование удавалось ему в кружке, больше ничего. И когда он в очередной раз остался на второй год, бросил школу и бродил с альбомом — рисовал озера, лес, холмы, высокую траву, орла-могильника на обточенных ветром камнях, — дядька Чебогатурин, хромой сосед, сказал:

— Что, парень, ходишь — рисуешь, ботинки снашиваешь? Кому это надо? Освоил бы лучше малярное мастерство! Я в юности мечтал стать маляром, да война, ранение, госпиталь... У тебя вся жизнь впереди! Научишься колера смешивать, это гарантированный рубль! А художник — куда ни глянь — ни с какой стороны не гарантированный. Знаю я в Алма-Ате одно училище, где на маляров учат, у меня там товарищ по стекольному делу — я ему черкану записку, не пропадешь!

Мамочка стояла на платформе в лимонном платье шелковом, из крепдешина с нечастыми голубыми васильками и рыжими веточками, зелеными листочками. А ее мальчик с рекомендательным письмом стекольщику — ту-дух, ту-дух, ту-дух! — во весь опор помчался из глухой провинции в столицу, словно молодой гасконский дворянин Д'Артаньян — в Париж к господину де Тревилю, капитану королевских мушкетеров.

Ночь он провел в вагоне с фонарем, внутри которого слабо мерцала свеча. Пассажиры завалились спать на лавках, заглушая слабый свист паровоза своим храпом.

В отличие от малоимущего гасконца, Илью приняли радушно, дали форму ФЗУ, койку в общежитии — учись, студент, грызи гранит науки! Он начал грызть — а там такая скукотень: всё штукатурка да грунтовка... А где же краски? Краски где — с манящим запахом олифы? Где маховые кисти, макловицы, филенки, ручники, торцовки??? Где охра, мумия, сиена, умбра, ультрамарин, железный сурик? Где желтый марс, — он спрашивал у мастеров, — лазурь и малахит?

— Какой ультрамарин?! Какие масловицы? Шпаклевка, парень, и затирка первый год. А красить — это на втором курсе...

Илья Матвеич приуныл, занервничал. И тут на горизонте появился Август Штро, бывший музыкант оркестра Ленинградской филармонии под управлением Мравинского.

Из-за болезни сердца врачи ему велели сменить климат, сырой воздух вреден был для него, там он умер бы через год-два, а в Алма-Ате расправил крылья, вострубил в Театре оперы и балета имени Абая — он играл на тромбоне. И всегда вспоминал, как до войны еще на Дворцовой площади собирался могучий сводный оркестр: сотни музыкантов, в основном, военные, исполняли лучшие свои номера, — ничего грандиозней Август в жизни не видывал и не слыхивал, чем когда они разом грянули Римского-Корсакова «Полёт шмеля»!

Вот он и решил собрать все духовые оркестры «Трудовых резервов» Казахстана. Да еще организовал коллектив под своим управлением из школяров: штукатуров, маляров, стекольщиков, каменщиков, бульдозеристов и водителей башенных кранов.

— Я начал с нуля и хотел играть на кларнете, — рассказывал Илья Матвейч, — а Штро: попробуй-ка тубу! Держи мундштук и дуй! Я подул. И поверите ли, друзья? У меня обнаружилась фантастическая мощь воздушного потока. Взгляните на эти губы! — Золотник вытягивал африканские губы, как шимпанзе для поцелуя. — Я только приближал к ним амбушюр, и огромный раструб тубы наполнялся рокотом, ослиным ревом, еще до наставлений маэстро мне были подвластны звуки, издаваемые омерзительными и чудовищными пресмыкающимися! Ребята из оркестра прозвали меня Губастым. Туба стала моей страстью. Это был настоящий медный инструмент, а не какой-нибудь дюралевый или латунный. Общага стояла на ушах, когда я осваивал ноты, долбил гаммы, пытался разгадать тайну вентиляей!

Дебют состоялся через полгода в Оперном театре. Оркестры Экибастуза, Актюбинска, Павлодара, Кандыагаша, Темиртау — все были в гости к ним!

— Триста духопёров! И мы! — восклицал Илья Матвейч. — Мы вышли на сцену и сыграли два гимна: Гимн Советского Союза и Гимн Казахстана.

— И все? — разочарованно спрашивал отец Абрикосов.

— Мы же только начали, Альберт! Не все артисты знали ноты, а в гимне, это между нами, всегда можно сачкануть... Но только не тубе! Туба ведь — нечто среднее меж баритоном и трубой, в ней легкость звукоизвлечения корнета, мягкость валторны, величественность, роскошь, благородство, плюс уникальная густота тона. Туба звучит слишком выпукло, это колоссальная ответственность.

Через год репертуар расширился, оркестр наяривал «Марш танкистов», «Марш артиллеристов» и «Танец маленьких лебедей». (Причем идея была моя! — гордо говорил Илья Матвейч. — В Чапаевске мама водила меня на «Лебединое озеро» в Дом культуры. «Август Михайлович! А хорошо бы Чайковского сыграть? На следующую репетицию он пришел с нотами).

Август прочил ему большое будущее — с таким-то амбушюром. Когда в театре прямо перед началом «Ромео и Джульетты» заболел тубист и надо срочно было отыскать замену, Штро не раздумывая посоветовал дирижеру Илюшу.

За ним послали, Илья прибежал, трясясь от страха, обмирая, взошел по каменным ступеням Оперного театра, этого Парфенона с колоннадой и смеющимися и плачущими масками на фасаде, взял инструмент, и, как это ни удивительно, по знаку дирижера вовремя и к месту издал «рвякующий звук» в марше Монтекки и Капулетти.

В антракте все стали поздравлять его, хлопать по плечу и говорить: «Великолепно, приятель!» Опыненный успехом, Илья выкарабкался из оркестровой ямы, пошел искать туалет, а за кулисами такая кутерьма, он заплутал среди гримерок, декораций, костюмерных, карманов, закоулков, лабиринтов, в конце концов увидел дверь на улицу, шагнул во двор и остолбенел: по пояс голый, в голубом плаще, накинутом на плечи, в широких желтых штанах с красными лампасами и в алой бескозырке, худой, как барнаульский клоун Алекс, посреди двора, будто в центре самого мира, — стоял Художник.

Илья сразу понял: вот этот человек, каким он сам хотел бы стать. Большой и всемогущий, с ведрами красок, гигантским полотном, раскинутым на земле, и великанской кистью, размером с дворницкую метлу, — тот окунал ее в ведро и щедро, от души бросал на полотно мазки — все это *на живую ногу*, как говорил дядька Чебогатурин, играючи, небрежно, можно сказать, не глядя.

То был ритуальный танец шамана, который нацелился в небесные чертоги, — так незнакомец взбегал по стремянке и с высоты оглядывал свое творение: хорошо ли? Потом спускался, и на разлинованную квадратами тряпицу шлепался новый густой мазок.

Илья застыл столбом.

— Что, обалдел? Видал, как надо красить? А не так, как ты, тык, тык!.. Как тебя зовут, малый? Илья? Илиа — это бог грома, ты должен быть как гром, греметь везде, а не столбом стоять!

— А вы откуда знаете, что я на маляра учусь?

— Я, Илиа, все знаю, все вижу, вижу, что ты художником мечтаешь быть, так ведь, Гермес-Трисмегист?

— Трисмегист — это кто?

— Это Гермес Трижды Величайший, друг мой! Хочешь помулеть? Вот там возьми флейц и присоединяйся. Мажь еловые стволы голубым, ветки крась лиловым из вон того ведра, я там уже колер намешал.

От слова «колер» у Ильи захолонуло в груди, он взял кисть, макнул ее в ведро и стал красить, удивляясь: почему стволы голубым? А из-за стволов и еловых лап выглядывали страшные коричневые хари, они гримасничали, пучили глаза, высовывали язык.

— Если режиссер скажет, что эти рожи ни к селу ни к городу, я их замажу. И превращу в камни. Но сквозь мои камни будут просвечивать лесные духи, поскольку они заодно с Сусаниным против поляков. Вот так, Илиа! Только мы с тобой будем это знать, больше никто!

— Дядя Серёжа, — вдруг он повернулся к Илье и протянул ему заляпанную краской ладонь. — А если полностью — то Сергей Иванович Калмыков, гений Первого ранга Земли, Вселенной и ее окрестностей, слышал о таком? Так вот — это я!

— Илья... Илья!!! — донеслось из-за угла, — где ты? Дирижер зовет, не начинают, тебя ждут!

— Мне пора, — сказал Илья, — я на тубе играю, в оркестре.

— «Ромео и Джульетту»? Чует мое сердце, ничем хорошим эта история не кончится! Ты вот что, Илиа, приходи ко мне домой, в мой дворец муз, магистерииум, на перекрестке Емелева и Советской, если встать лицом на восток, в шаге от Парка Федерации... Я тебе покажу свою новую картину... До свидания, дорогой друг!

Потрясенный вернулся Илья Матвейч в общежитие, сбросил одеяло с кровати, и на простыне синими чернилами нарисовал задник с лесом и луной над холмами, с лодочкой и лунною дорожкой, за что получил нагоняй от коменданта Галима Галимовича, который топал ногами, грозился выселить ко всем чертям, и так он всем осточертел своими кошачьими концертами.

С большим трудом Илья уговорил Галимыча повесить разрисованную простыню на стенку в прачечной или в каптерке у завхоза, как образец декоративного искусства.

Назавтра, только Штро отмахнул палочкой, показав, что репетиция окончена, с тубой на плече, Илья отправился по указанному адресу.

Зачем он взял с собой тубу? Во-первых, с ней он чувствовал себя уверенней — а то весь трепетал, как лист на ветру, что вновь увидит своего кумира. Ну и собрался вечерком подрепетировать, они разучивали марш из оперы «Аида». Бархатный и шелестящий *pianissimo* у него плохо получался, зато на *forte* к густому тембру он ловко

насобачился добавлять металлический блеск, звук будто не умещался в инструменте, и туба начинала мелко дрожать.

Это был какой-то всплеск радости, Август Михайлович называл Илью золотым самородком, предложил индивидуальные бесплатные занятия, обещал договориться с Мансуровым о стажировке в оркестре, минуя всякие училища, консерватории. Илья обещал подумать.

— Да что тут думать-то? — удивлялся Штро. — Это судьба твоя стучится в двери, как в «Пятой» у Бетховена: от мрака к свету и через борьбу к победе!

Илья шел, ликуя, напевая, и прекрасный город служил ему фоном и хором: ветлы в три обхвата, волнующиеся от налетевших горных ветров, — ветвей у ветлы целый лес, и нежная зелень весенняя, пока что не пыльная, еще не выжженная солнцем, шелестящая стена пирамидальных тополей, кроны красных дубов и вековых карагачей на улице Абая, предгорья Алатау в яблонях цветущих, облака и Небесные горы — пока не загустела листва, их сахарные головы просматривались вдоль и поперек — от лысых прилавков до ослепительных льдов на макушках.

Ведь недаром же с детских лет в каждом желал он найти удивление, солнце и щедрость, размах и, конечно, — Любовь! Потому что ему одному, Илюше Золотнику, дано в этой жизни хоть что-нибудь понять из никому не понятного явления — беззаветной любви, которая поднимет его в небеса. Тогда он оглядит с высоты этот город и горы, глубины океана, материки, мировое пространство и позовет туда всех, кто пока пешком, кто отстал и устал!

Илья шагал с пылающими ушами, сам не свой от сознания важности собственной миссии, своего земного предназначения. Кем я буду? Кем, кем? — думал он. И вообще, что я такое? И когда я об этом буду знать? Никто не замечал меня, никому я не был известен, никто не спрашивал, кто я, и откуда, и что мне надо на этой земле, как вдруг птицы высокого полета закружили над моей головой, и голова моя пошла кругом...

Журчание фонтанов, арыков, певучие дрозды, грохочущий трамвай «пятерка» и даже типовой, бетонный, крашенный под бронзу Ленин на паперти бывшего Вознесенского собора славили Золотника, держащего путь на Восток, по направлению к старому казарменному барaku, где жили работники оперного театра и где в самой узенькой комнатенке, заставленной декорациями, заваленной рукописями о собственных подвигах и деяниях, автопортретами, фотографиями, эскизами, лохматыми папками повестей и романов, царил магистр цветной геометрии, гроссмейстер волнистых линий и линейных искусств, великий, наивный и совершенный, так он себя сам называл, художник «дядя Серёжа».

— Быстрее заходи, дверь плотней закрывай, а то кошки набегут, прикормил тут бродяжек молоком, пускай возвращаются к своей богине Фрейе.

Художник усадил Илью на самодельное кресло из старых газет, склеенных костяным клеем, стянутых веревками. Кровать, на которой он спал, сработана была из того же материала.

— Угощайся! — радушно сказал Калмыков.

На кипах газет, прикрытые газетой, стояли кружка молока и тарелка с горбушкой хлеба.

— Газеты — универсальная вещь, скажу я тебе, — и для ума, и для быта. Мухи газет боятса!

Пожелтевшие газеты служили ему рабочим столом, на них он созидал макеты Вавилонских башен, уносящихся в небеса, чертил подземный коридор, ведущий из Алма-Аты в Москву, сочинял «Диссертацию о соединительных швах черепа», набрасывал эскизы красной юрты к постановке «Князя Игоря», смахивающей на межпланетный летательный аппарат.

Всюду валялись рисунки со звездными скоплениями и космическими кораблями на оберточной бумаге, сопровождаемые сложнейшими математическими расчетами. А главное — картины, картины на старых клеёнках, тарных тряпках, на холстах, уже кем-то использованных.

— Зачем покупать новый холст, когда этого добра в театре навалом, спектакль с репертуара сняли, декорации — на помойку, а я тут как тут, это ж все мои сокровища! Вот только не хватает природы, да Я и есть — своя лучшая натура!

Как раз посреди комнаты, ближе к окну, прикрытому газетами от прямого солнца, стояла незаконченная картина, изображавшая длинноволосого старика с белой бородой в нахлобученной шапке и бедуинских сандалиях, приглашающего Калмыкова на ужин.

— Знакомься, Илия, это Леонардо да Винчи. Сюда ко мне и Тициан заглядывает, и Тинторетто, сидим вечерами, беседуем об искусстве. У каждого из нас внутри бирюзовых глубин живет бог и творит чудеса. И ты заходи, не стесняйся!

— Кстати, — сказал Калмыков, — мне приглянулась твоя туба, будь другом, одолжи мне ее до завтра? Я чувствую в ней частицу своей души. Я нарисую твою трубу в образе бесконечного тоннеля или рога изобилия!

— Знай, — говорил он, провозжая Илью, который оставил ему, конечно, свой инструмент, но с каким беспокойным сердцем, — частицу моей души можно встретить среди родников и трав, деревьев и облаков, но суть ее — три стороны камня: это Земля, Огонь и Небо!

— Запомни, Гермес-Трисмегист! — рокотал он Илюше вслед. — Художник обязан предъявить собственную модель мироздания, иначе грош ему цена. Смотреть на божий мир глазами дикаря, пронизывать его насквозь, вывернуть к черту наизнанку, как вывернул я свое новое мышинное пальто, подаренное мне в месткоме, распорол по швам и вставил туда разноцветные клинья!..

Ночью Золотник не сомкнул глаз, день прожил как в тумане, еле дождался вечера, смятенно постучал в обшарпанную дверь барака, ему открыл художник, облаченный в золотой балахон, ярко-красно-желтые шаровары с золотистыми лампасами, пришитыми фиолетовыми, багровыми нитками, — весь его облик напоминал тропическую игуану с чешуйчатым драконьим гребнем.

За окном его катились то солнце, то луна, вспыхивали и гасли звезды. По стенам и потолку металась калмыковская тень. А на мольберте стояла уже совсем другая картина, втрое больше вчерашней — вместо белобородого Леонардо в центре красовалась туба, но совершенно плоская и, что странно, не потерявшая медного блеска, вокруг плясали цветные треугольники, овалы и квадраты. Картина звучала, сияла на солнце, прорвавшись сквозь заклеенное газетой окно, извитые линии вихрились вокруг тубы, геометрические элементы отстукивали четкетку... Но туба на холсте не была нарисована. Расплющенная и прилепленная к подрамнику, она была самая настоящая — та, что Илья Матвейч имел несчастье оставить этому варвару.

Внизу голубела надпись танцующими прописными буквами: «АПОФЕОЗ СЕРГЕЯ КАЛМЫКОВА».

— Входи громовержец, мечи громы и молнии! — воскликнул Калмыков. — Ты должен отыскать Ключ к Мирозданию, взорвать и прорваться, это я тебе говорю, Человек с Орденом Мухи! Что, брат? Покруче Пикассо? Шедевр? — доносилось, как с неведомой планеты, откуда-то издалека-далека, со звездных бескрайних просторов.

Так у Ильи Золотника бесславно оборвалась карьера музыканта, зато распахнулась другая дверь — в изобразительное искусство, куда он шагнул не раздумывая — без малейших колебаний.

...И всю жизнь его тянуло в те места, где волшебная «линька» Заилийского Алатау от снега (снизу вверх — весной и сверху вниз — осенью) была для него лучше всякого

театра. А поджоги сухой прошлогодней травы — весенние палы, которые устраивали на склонах Кок-Тюбе мальчишки-пастухи, когда пламя огненными кольцами взбиралось по склонам вверх с такой яростью, что отбрасывало зловещий отблеск на город, и наутро Кок-Тюбе представал внушающим ужас обугленным «кара-тюбе», потом долго тревожили Золотника ночами.

Он любил болтаться на Зелёном рынке, любоваться кроваво-красным наливным апортом. О, эти яблоки, краса и гордость Казахстана! Как-то Илья, поднакопив деньжат, послал фанерный ящик с пятью огромными плодами — почти по килограмму каждый! — в Соснинку, порадовать сестрицу с мамой. И эти сказочные яблоки всю зиму наполняли мамин дом чудесным ароматом. Она их берегла, не ела, а только любовалась, да еще ими потчевала Илью, когда тот приехал на побывку!

С какой же радостью — спустя много-много лет — поехал в Алма-Ату Илья Матвеич показывать выставку японских гравюр.

— И сделал выставку — с блеском! — рассказывал он. — Пришлось обрушить на них водопад своего жизнелюбия, полностью не соразмерный моему официальному статусу развесчика картин. Я открыл выставку при полном аншлаге, зажег умы и сердца...

— Илюша — уникам! — подхватывал Осмеркин, глядя на Золотника влюбленными глазами. — Хотя я эту историю слышу в тысячный раз.

Армейскую дружбу они пронесли сквозь года, вообще, их изначально было трое, еще на Балхаше в стройбате служил Мишка Захаров, тонкий ценитель изобразительного искусства, в мирной жизни он подторговывал иконами за границу. В любое время дня и ночи Мишка способен был нагрянуть без звонка к Илюше или Мите — с ящиком шампанского и ананасами. Долг дружбы требовал забросить все дела и с ним гудеть, поскольку он толкнул иностранцам очередную икону и гуляет.

Потом его то ли посадили, то ли он эмигрировал, Илья Матвеич с Митей лишились боевого товарища, но и вдвоем столь упоенно приносили Бахусу дары колосьев, листьев лавров, миртов, что это не всегда благополучно заканчивалось.

— Вчера жена была в гостях, — сокрушался Митя, — ко мне пришел Илья, принес бутылку водки. Мы выпили, принялись вспоминать армию. Илюша побежал за второй. Когда она вернулась, мы лежали на полу, беседовали о том, что главное в творчестве — страдания души или ликование духа, предавались воспоминаниям и плакали. Так эта стерва сгребла его за шкирку и вытолкала за дверь!

С годами что-то пошло не так. Выпьешь, говорил Золотник, и никакой радости, только сонливость, хандра, ярко выраженная мерехлюндия. Он стал к себе прислушиваться, присматриваться, долго наблюдал и пришел к такому выводу:

— То ли водка стала дрянь, то ли я спиваюсь. А как я могу спиться? Я всю жизнь пью, это для меня норма.

Тогда Илья Матвеич вот что придумал: берет и завязывает ...до новогодних празднеств.

— Нет, я не буду пить, — говорил он, если кто-то его пытался искутить раньше времени. — Только если меня зазовут в подворотню и скажут: у нас тут «Наполеон» пятнадцатилетней выдержки. Будешь? Тогда.

Зато в новогоднюю ночь выпивает, что под руку попадет, и — уже начинает продолжать, совмещая вселенские просторы с земными пристрастиями.

Поблизости у нас был винный, весьма изобильный, где можно было разжиться не только «белой головкой», «Перцовкой», «Зубровкой», «Петром Смирновым», но и старым бургундским и черным английским ромом.

— После перерыва ты ощущаешь весь букет вин, тончайший аромат, и вкус, и послевкусие, — делился впечатлениями Золотник. — И на этом фоне очень благоприятно воздействует на организм швепс.

Но скоро Илья Матвейч опять погружался в меланхолию, сторонился мира, ничего не ел, был какой-то безвольный и совершенно подавленный.

— Сегодня я не мог ходить по делам. Сегодня сыро, — он перед кем-то оправдывался по телефону.

— Жизнь-то тяжела, тяжела жизнь, — бормотал он в такие дни. — Да, жизнь тяжела. Но, к счастью, коротка...

Помню его пристальный взгляд, обращенный в никуда, в нем отражался приморский городок, ставший для него чудом, Евпатория, где обитала нежность бабушки и дедушки, их удивительно трогательная любовь, соединенная с теплом солнца, линией морской волны, чистотой песочных пляжей и волшебной архитектурой...

И снова подкрадывалась праздничная дата, и он завязывал — до Первой или годовщины Октября. Благодаря такой методе Илья Матвейч продержался на плаву еще несколько лет, выставляя на пути вешки, бражничая с Митей, распевая песни родоначальника казахской литературы.

Он срывался с якорей, искал на свою голову приключений, осваивал новые сферы деятельности («Даже рутинная работа приносит мне и радость, и удовлетворение!»), пока не сменил решительно все, чем тешилась его душа, на самоуглубление и покой.

— ...И распроклятое «мулевание»! — с негодованием отзывались о священнодействии Золотника Зинуля с Надей, буквально со свету сживаемые терпким духом скипидара и масляных красок. При этом бойкие сушеные кузнечики из прерий Амазонки всегда подчеркивали, что не питают отвращения лично к Илюше, а только к роду его бессмысленных и даже зловредных занятий.

Весной и осенью Ильей Матвейчем овладевали демоны, они навеивали страхи и тревоги, какие-то особенно мрачные думы, однажды эти черти полосатые подсунули ему вместо портвейна скипидар, слава Богу, друг Осмеркин вовремя раскрыл их злые козни!

Тогда к нему приходила старшая сестра с племянником Вовкой, тощим пареньком, стриженным почти налысо, с челочкой по линейке, и начинались нехитрые сборы в психбольницу: из ванной в комнату переплывали мыло в мыльнице, зубная щетка, с кухни — ложка и кружка... В газету заворачивались тапки.

— Почему у меня всего один коричневый носок? — громогласно вопрошал Золотник. — Я пока не собираюсь лишаться ноги!

— А где моя обычная черная шапочка? — гремело на весь коридор. — А то в этой шапке у меня вид человека не от мира сего. Какого-то героя из Жюль Верна — жителя Луны...

И снова — по комнатам разносилось:

— Поддай-ка мои брюки, цвета «зеленое золото»...

Главное, не бутылочный, не болотный, не еловый, не крыжовенный — вынь ему да положи «зеленое золото»! И, принарядившись, с фанерным чемоданчиком, хотелось бы сказать: *сопровождаемый многодневным пышным шествием с участием сотен храмовых слонов, горнистов, барабанщиков, факельщиков и знаменосцев*, — но увы! под приглядом своей малочисленной, бесцветной родни и сочувственные возгласы соседей, художник Золотник смиренно отправлялся в «Кашенку» — сдаваться.

Однажды я увидела его в книжном на Садовой, куда мы с Флавием заскочили глянуть, есть ли там моя книга, — на закате второго тысячелетия у меня вышел маленький роман о любви.

В эту вещичку Флавий внес колоссальный вклад. Каждый вечер он звонил и спрашивал:

— Роман-то пишешь? Ну, пиши-пиши...

Это был могучий стимул для поступательного движения.

Еще он говорил:

— Не забывай: где есть лучшие куски, обязательно должны быть и худшие. Иначе как поймешь, что вот эти лучшие — без худших? Даже если худших нет — их надо специально написать!

Бывало, прочитаешь ему кусочек, совсем короткий, чтобы не испытывать терпение.

А Флавий:

— Тебе нужно создать такого героя — поэта, возвышенную душу, у которого метеоризм. Он с гордостью объявляет об этом во всеуслышание, как о чем-то космическом. «У меня такой метеоризм, — говорит, — что я просто летаю. Я могу улететь в небо, как ракета, и вы все еще пожалеете обо мне, что был такой поэт, а вы его не ценили. И вот он улетел...» Капусты наелся.

Я говорю:

— Ты так тонко чувствуешь, зорко видишь...

А он:

— Просто есть банальности, как камешек обыкновенный, и все зависит — под каким освещением его подать. Есть необыкновенное, которое необыкновенно — при любом освещении. А есть обыкновенное серое — вот этого я очень не люблю. Его как откроешь — сразу видно.

Такая у меня была подбадривающая трость Гуй-Шаня.

Мне в апофеозе никак не удавалась любовная сцена, на что я пожаловалась Флавию.

— Запомни, — сказал он, — центр эпоса — это огромный вздыбленный хер. Остальное вертится вокруг и на него нанизывается: кино, цветы, взгляды, всплески. У тебя же — наоборот: всё вокруг, а центра нету! Не доходит до сердцевины. Да в тебе и самой сплошь лирическое начало, ни черта эпического!

— Господи, — я отвечала, — дай немного эпического начала взамен лирического...

— Эпическое — вот здесь, — и Флавий с достоинством указал на свое причинное место. — Учти, я готов тебя исцелить — из альтруизма, конечно, не пойми меня превратно.

А пока суд да дело, засучил рукава и самолично описал финальную сцену соития героини и ангела, по мне так — лучшую в истории мировой литературы...

— Ты самая незначительная писательница в мире, — констатировал Флавий. — Твоих книг тут нет. Зато целая полка про Гитлера, пять полок про Сталина. Полка Проханова, Лимонова собрание сочинений. Сплошь националистическая литература. Везде поучения — как быть русскими, «Русское превыше всего» и что следует предпринять, чтобы встать с колен. И это в таком магазине, уважаемом! Какие-то непонятные издательства с антиамериканскими настроениями, всех разоблачают, особенно либералов и западников... Кошмар. Видно, как идет планомерная пропаганда этого дела. Что тут стряслось? Сменилось руководство? Может, теперь в книжном магазине директор — фашист? Ладно, пойду в детский отдел, отдышусь над «Щедрым деревом» Шела Сильверстайна, немного успокоюсь...

Он спустился вниз, а я свернула в любимый «бук» и увидела там Золотника. Я как-то сразу его узнала — со спины, хотя мы давным-давно переехали с Николаямской и не виделись лет двадцать пять. Он стоял, ссутулившись, в старом — с тех еще времен — чесучовом пиджаке блошиного цвета, очень модных прежде штиблетах с длинными носами, немного приподнятыми кверху, — кто-то отдал ему свои, покрытые пылью дороги, на экваторе Золотника я обнаружила мешковатые, с детства знакомые брюки — бывшее «зеленое золото»! И хотя венчала все вышеописанное, черт побери, та самая шапочка, в которой — и только в ней! — он ощущал себя землянином, сомнений не оставалось, что этот человек свалился с Луны.

Вооружившись лупой, Илья Матвейч склонился над старинным фолиантом,

раскрытым на главе «Черепь», сосредоточенно исследуя храм черепного свода — монолитный, словно капля воды, спаянный из обилия косточек и пластинок. О, эти названия швов Божественного Портного — *вечный, стреловидный...* Сложнейшая мозаика совокупности...

Золотник шевелил африканскими губами, чуть слышно артикулируя: *наружный затылочный гребень, крылонёбная ямка... Чешуйчатая, барабанная, скалистая доли височной кости...* — Микеланджело в анатомичке! Бедный Йорик... Зачем ему понадобился скелет головы — при его бесхребетных видениях?

Когда-то он считал себя реалистом, о чем свидетельствовало крупное многофигурное полотно «День рождения Иисуса Христа», написанное с космическим размахом, снятое с подрамника, свернутое в рулон, спрятанное за шкафом. Илья Матвейч называл его «пробой кисти» в византийском стиле.

А между книжными полками, затертая, словно корабль во льдах, обреталась жизненная картина «Элен падает в пропасть» — с преобладанием пламенеющего розового, фиолетового и зеленого, переходящего в изумруд, — красок его палитры, рожденных первой военной зимой.

Розовый открылся в Чапаевске, в эвакуации. Илье было два с половиной года, когда недалеко от дома, где они жили с мамой и сестрой, взорвался химический завод. Волной отбросило кровать от окна к стене, и маленький Илья Матвейч, как ни странно, живой и невредимый, смотрел на зарево пожара, не чувствуя ни страха, ни угрозы, переживая торжество огненно-розовой стихии.

Фиолетовым было свечение сигнального фонарика, который подарил ему летчик-отец, отправляясь на фронт. Илья то зажигал фонарик, то гасил, пока не сломал рычажок. Отец рассердился, назвал его скверным мальчишкой. Обиженный, тот забрался под кровать и даже не вылез попрощаться, о чем жалел до конца своих дней.

А изумрудным — бархатное пальто соседской девочки, приехавшей в эвакуацию из Ленинграда, первой любви Ильи Матвейча, оставившей неизгладимый след в его душе.

Вспомнилась комната Золотника, поражающая неприязательностью на фоне духовного богатства ее обитателя. Масляная краска стен в уборной абрикосовки, пыльная пирамида картонных коробок с изношенной в стельку обувью над унитазом, грозившая обрушиться на голову беззащитного визитера (да еще Гарри забрал с расформированной лыжной базы восемь ящиков старых бесхозных ботинок — вдруг пригодятся?).

Перед глазами поплыли обломки повседневности — мамыны кофейные чашечки и тарелка для десерта, ее прозрачная фиалковая ваза, то, к чему она так часто прикасалась, птичье оперение синиц и снегирей. Сонечка сыпала им хлебные крошки на подоконник, а прилетали жирные голуби и все сметали, — того нашего обитания, где так естественно уживались коммунальный быт и Универсум.

— Как интересно... — говорю, разволновавшись, я стояла так близко, чуть не касаясь его плеча. — Что это за книга, Илья Матвейч?

— «Атлас описательной анатомии человека», — ответил он, как глухой барабан, и все же не очень медленно, и не очень уж тихо. — Знаете, что, считал Марк Аврелий, — находится вовне? Лишь немного крови, несколько костей, сплетенье нервов и сосудов, немного воздуха... — Золотник не то чтобы вовсе не взглянул на меня, но как-то мельком, а ведь я назвала его по имени. — А что находится внутри? — проговорил, не отрываясь от завораживающей архитектоники черепной коробки. — Чувства, образы туманные и не очерченные, душевная субстанция, сновиденья, призраки... — И он окончательно погрузился в свой уединенный мир.

Я постояла еще немного, потом повернулась и со смятым сердцем побрела прочь, я шла по Садовой, окруженная воспоминаниями, всегда имевшими для меня первостепенное значение.

В голове вспыхивали какие-то картины прошлого, гасли и возникали другие, причем в мельчайших подробностях: наш старый двор, желуди, сережки, перья фазана (соседи иногда несли по двору с рынка, надо было выпросить), решетка ворот, дверные ручки подъездов (отполированная ладонями медь), парадная — там на втором этаже целовались влюбленные, страшная «черная лестница», Надя с Зинулей по привычке пользовались исключительно «черным» ходом, отправляясь в Покровский храм на утреню, обедню или просто вознести благодарение Господу за прожитую жизнь.

Это нахлынуло на меня, окатило, ударило, словно каруселью по башке, *свирель моя скорбной голубкой тоскует на чуждых реках Вавилона...* послышалось невесть откуда или во мне самой, я не разобрала, да только душа моя вырвалась на свободу и понеслась догонять вчерашний день. Тот пятился, ускользал, отступал дальше и дальше, ни за какой его не ухватишь хвост, а тебе оставалось только оплакивание или воспевание того, что было.

— Ах, она дома, наконец-то??? — послышался в трубке трагический голос Флавия. — А я ей уже двадцать раз звонил! Что это было??? Ты как сквозь землю провалилась!!! Я облазил углы и закоулки! Просил объявить на весь магазин, что жду тебя под лестницей! Мне говорят: «Стойте и никуда не уходите!» Я встал и ждал ее целый час, бог знает что передумал! Мне стало с сердцем нехорошо! Я всегда верил в твой разум, а после того, как ты просто УШЛА, оставив меня *одного*, весь твой образ, веками создававшийся, рухнул в моих глазах! Да-да-да! Теперь я от тебя ожидаю чего угодно! Любого абсурда! Все вертятся, все мотаются. На меня уже стали коситься охранники. Потом я опять пошел тебя объявлять. Они тебя объявляли три раза!!! А я все ждал-ждал-ждал, я чуть с ума не сошел! Главное, по радио постоянно рекламировали роман Коэльо, как у одного человека пропала жена! Мне стали разные ужасы мерещиться, в голову полезли триллеры, я вдруг подумал, что я скажу ее мужу, когда он вылезет, наконец, из пещеры? Зашли в книжный магазин, *и она пропала?* Полумертвый от страха, я побежал, купил карточку телефонную. Позвонил маме: Райка не звонила? Не звонила. Вернулся обратно в книжный: «Нет?» «Нет». Я ждал еще час, не верил своим глазам, что ты исчезла. Чего я только не передумал за это время, я думал, что тебя похитили — за выкуп! (Это был единственный человек в моей жизни, который всерьез опасался, что меня похитят...)

Флавий свирепствовал, как тигр, и мне пришлось долго ждать, пока он сменил гнев на милость и сказал:

— Пора заводить мобильник...

Не знаю, что он во мне нашел? С виду я ничего особенного, а Флавий харизматик, Высший Путь Светоносного Совершенства, он в институте, где мы учились, педагогическом имени Крупской, специально в портфеле таскал кирпичи, чтобы стать семижильным бугаем (потом решил, что это фигня, куда лучше ходить налегке и быть атлетом духа). А там же сплошь девушки неземной красоты, готовые на все ради его одобрительной улыбки. Нет, именно ко мне взбредило сыну Амори Первого и венценосной Агнес обратиться свое благоволение: нагнувшись, попросить огонька в курилке под лестницей, после чего произнести серьезно и деловито:

— Надеюсь, ты мне дашь?

— А у меня нет, — ответила я, не вдаваясь.

— Дай *то, чего нет*, — сказал он и так на меня посмотрел... Клянусь, в этом взгляде не было ничего, кроме мягкости, сострадания и любви.

Мириады невидимых нитей были протянуты, чтобы мы встретились с ним в тот день и час под лестницей в курилке, хотя ни до ни после он не курил и не пил вина; те, кто очень любил его, а я была в их числе, помнят легкость его шагов,

расфокусированный взгляд и какие-то парадоксальные фразы, типа: «Я как раз тот человек, который вам не нужен...»

Он любил танцевать со стариками на танцплощадке, они его обожали, правда, многие из них совершенно выжили из ума, но он относился к ним по-доброму, щеки у Флавия были часто вымазаны губной помадой, это его осыпала поцелуями безумная Марго, которая подчаливала на танцы в полосатых трико и, отплясывая, кричала «...!!!» на все Сокольники.

— Только моя природная скромность мешает мне признать себя величайшим из живущих (да и умерших, что уж там!) танцоров, а также писателей, и вообще, — говорил Флавий.

— Танцору всегда скромность мешает...

Мы гуляли с ним в парке — выберем подходящую погоду и гуляем.

Февраль, золотой закат, потом сумерки, небо черное звездное, сверкающий месяц, Марс огромный и Сириус. Вдруг метеорит — очень быстрый, за ним второй — в полнеба рваная рана темноты, полыхание до верхушек сосен.

Флавий — с надеждой:

— Сейчас где-нибудь — бум! — совсем рядом...

Или апрель, чистые деревья, грязные дороги, снег еще меж стволами, темный лед. («Весной мы уже погуляли, теперь погуляем летом, таким людям, как мы с тобой, надо встречаться четыре раза в год — летом, осенью, зимой и весной».)

У него была привычка согреть пломбир в кармане брюк до мягкой консистенции. Он боялся охладить горло.

— Ты не забыл о мороженом? — я спрашивала, когда мы стояли, обнявшись под сенью цветущих лип.

— Когда я обнимаю тебя, то обо всем забываю. Ты ко мне приходи, — говорил он. — Посмотришь, где я сплю на балконе в тени тополя, мама говорит, его надо спилить, а то темно. А я против.

— Тебе что-нибудь принести? — я спрашивала.

— Принеси мне *ничего*.

В окне раскачиваются тополиные ветки, стучат по стеклу. Агнесса права, это не тополь, а баобаб, еще немного и он заполонит всю квартиру. На вешалке клетчатые рубашки. Тонкий жесткий матрасик на полу. Миска черешни из холодильника. Тарелка смородины. Проигрыватель и виниловые пластинки в конвертах. («Давно хотел завести тебе Пьявко, люблю ему подпевать... Когда-а я на почте служи-ил ямщикоом...»)

— Иногда я думаю, — говорил Флавий, — чего у меня в жизни нет? Все есть, чего ни пожелай. Вот — музыка. Зачем мне куда-то идти? Тратить деньги, искать-выбирать, когда радио включил — и вот она музыка — ЛЮБАЯ! Все есть, просто все! ТЫ ХОТЬ ПОНИМАЕШЬ, О ЧЕМ Я ГОВОРЮ???

Флавий — близнец и, что интересно, явился на свет не сразу после Сибиллы, а только на следующий день. («Думал, обойдется...» — он мне потом говорил.) Наутро его обнаружили: «Да там еще один!» — и в принудительном порядке попросили на выход.

Институт он бросил. Дождавшись момента, когда его отец Амори Первый занялся укреплением связей Иерусалима с Византией, и оба государства начали совместное вторжение в Египет, с виду показавшийся им легкой добычей, Флавий забрал документы из деканата и стал с наслаждением околачивать груши. Но тут же заремел в армию.

Агнес, к тому моменту покинутая Амори по требованию Иерусалимского патриарха, протоптала дорожку в военкомат, кланялась, обивала пороги, осыпала военкома семейными драгоценностями — лишь бы ее сына, официального наследника престола, оставили служить в Москве или Московской области.

— Капитан Кочерга, — она рассказывала певуче, — вполне вменяемый человек, умный, доброжелательный, даже интеллигентный, только после каждого слова добавляет: «Понял-нет?»

А она ему — билеты на выставку Филонова—Кандинского—Репина («Чтобы вам, Иван Иванович, с супругой — при вашем плотном графике — не простаивать в очередях!»), долгие беседы вела с военкомом о Страшном суде в эсхатологии авраамических религий, военком терпеливо выслушивал ее библейские пророчества, что — недалек тот час, когда Христос явится во славе своей и спящие в прахе земли пробудятся... Причем творящие беззаконие, — Агнес устремляла на капитана красноречивый взгляд, — услышат такие слова: «Идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его!» Все эти страсти господни она произносила профессиональным, хорошо поставленным голосом, десятилетия работы экскурсоводом в Третьяковской галерее не пропали даром.

Видимо, ее старания возымели действие. По уралам да казахстанам стремно трястись, кого там волнует, что ты с краю и вывалишься... В поезде то холодно, то жарко, неделя, вторая в пути, ту-дух, ту-дух — Флавия послали на самую крайнюю точку ойкумены, где ни людей, ни зверей, ни травы...

— И наверняка это время для него было самое счастливое, — говорил мой муж Федя. — Там он сформировался как человек, там друзья, товарищи, там он женился в первый раз, там было главное. А теперь — так, ничего особенного. Все уже не то.

Фёдор дневал и ночевал в подмосковных каменоломнях, где я его и встретила, по воле случая за кем-то увязавшись. Это было убежище даосских подвижников, они философствовали, пили, курили и предавались грезам.

Все были пьяные, веселые, Федя разливал по кружкам глинтвейн, сочиненный им в алюминиевой кастрюле из «Солнцедара» с гвоздикой, мускатным орехом, корицей, лавровым листом, перцем и яблоком — на керогазе. Вытащил из рюкзака рыбную нарезку домашнего приготовления — красную кету и ослепительный плод лимона.

В памяти всплыла скумбрия Золотника, да и сам Илья Матвейч, кроткий, полноводный и не управляемый мирской суетой, даже, на мой взгляд, хватавший через край в своем отречении от личных уз и честолюбивых замыслов, на тот момент он работал макетчиком.

— Счастье, друзья, в этом лучшем из миров быть макетчиком, простым макетчиком! — восклицал он. — Вольной птицей, неподвластной министерству культуры! Кстати, это редкая профессия, все равно что — скрипичные мастера. Втиснуться туда невозможно, но я-то все-таки шишка! Тебя можно назвать куратором, можно скульптором цеха, и ты весь под колпаком у министерства. А с макетчика никакого спросу, но вершит он великие дела. Я вам расскажу кульминацию: когда на Новодевичьем кладбище хоронили Шаляпина, я ему сделал на могилу портрет.

Это производило ошеломляющий эффект — у всех шарика за ролики: как так? Шаляпину! На могилу! Сколько ж лет ему? И когда Шаляпин-то умер?

— Я получил маленькую старинную фотографию, — продолжал Золотник, не опускаясь до объяснений, — увеличил, отреставрировал, напечатал, сделал рамку. Вдруг выяснилось, что, кроме этой фотографии, нечего нести перед гробом. Ее несли как хоругвь перед похоронной процессией, я по телевизору видел. Я такую сделал пуленепробиваемую и водонепроницаемую вещь! Мир рухнет — она и с места не двинется!

Словом, режет Федя лимон, и какое-то странное амбре сопровождает каждое его движение.

— А рыбка-то с душиком! — сказала я.

— Не то слово! — ответил Фёдор. — Кета засолена в анчоусном соусе, он издает

черёмуховый запах. Так солят рыбу ханты. Иногда они обходятся без анчоусов, а просто в землю закапывают, чтобы сопрела. Раньше я у них за бутылку выменивал красную рыбу и ел. Теперь они дружно поклоняются мамоне. А тогда просто спрашивали: бутылка есть?

Мы разговорились. Федя поведал мне, что собрался каталогизировать все на свете штреки, сифоны, штольни, подземные города, каменные коридоры — продольные и поперечные, особенно бездонные колодцы, пронизывающие насквозь Землю.

— Если нырнешь в тот колодец, — он показал на соседний грот, — вылезешь из черных провалов Техаса или из шкуродеров горы Фавор в Галилее... Типа того.

Он чертил схемы и лабиринты, развертки-сечения; залы, развилки, пролеты и горние своды Федя прикидывал на глаз, у него был хороший глазомер. Малые — распознавал частями собственного тела: он знал свой рост с поднятой рукой, «локоть», расстояние между растопыренными большим пальцем и мизинцем, не будем продолжать, а то перечисление инструментария Фёдора дойдет до абсурда.

Все у него было задокументировано на листах-пикетах, утрамбовано в картонные папки, завязано тесемками и заброшено на антресоли. Ибо суть его странствий была в другом. Он искал исключительно сердцевину мира, пуп земли.

Это обстоятельство да еще моя слабость к аргументам из области иррационального совершенно вскружили мне голову и укрепили в мысли, что Федька — достойный предмет для моего поклонения, что в нем заключена стихия сверхчеловеческой силы и красоты.

Фёдор мной тоже заинтересовался, так мне по простоте сердечной показалось, хотя в этом пылком взоре трезвый человек углядел бы, как бегут, разветвляясь, шахты и тоннели, канализационные люки оборачиваются озерными пещерами, хранящими древние артефакты, секреты канувшей Атлантиды, останки неопознанного моллюска, индейские мумии, кости рысей и гиен... Словом, наша встреча положила начало дружбе, стремительно переросшей в совместное бытие.

Пришлось мне унять свой нюх, ибо когда Федя приступал к обработке полевых материалов, на всю квартиру неумолимо распространялся смрадный запах анчоусного соуса.

— Ты прям как Иоганн Вольфганг Гёте, — я говорила, густо перемешивая зловоние анчоусов с терпким ароматом индийских благовоний — сандала, мирры и пачулей, — он мог сочинять стихи, только если пахло гнилыми яблоками!

— Во-во! — отзывался Федька.

Дело докатилось до районного ЗАГСа, куда мой жених — неумный исследователь подземных глубин, хтонических миров, обратной стороны луны — явился в комбинезоне, перемазанном глиной, и в каске с велосипедным фонарем, в луче которого металась летучая мышь, остроухая ночница.

Все были ошарашены моим избранником, особенно отец Абрикосов.

— Дорогой друг, — он говорил Фёдору, — Земля вам не червивый плод, внутри у него непробиваемое ядро, окутанное кипящей оболочкой, и три тысячи километров раскаленной мантии, пышущей жаром, лишь на макушке — тоненькая земная корка.

— Это неопровержимо и недоказуемо! — благодушно замечал Фёдор.

Спорам положил конец Павел, явившись на свет в одно прекрасное утро, и, как говорится, обычная дорога за забором, которая ведет в провинцию Теань, пути птиц в воздухе, и пути птиц в воде, и пути мыслей в наших головах, вели теперь не к центру Земли, а совсем в другом направлении.

И только Фёдор упрямо не сворачивал со своей каменистой тропы, он шел, шел и шел, словно в этих лишенных дневного света коридорах нельзя остановиться дольше чем на минуту, двигаясь к цели, которая находится за пределами человеческого воображения.

Я написала Флавию о бурных событиях моей жизни, думала, он будет рвать и метать и осыпать меня упреками. Однако на мое длинное сбивчивое послание он ответил фотографией безбрежной морской глади и единственной фразой: *Сегодня Средиземное море было таким.*

Когда Флавий возвратился из армии, сиятельный отец Амори данной ему небесами державой восстановил его в пединституте. Тем временем я устроилась училкой младших классов в районную школу.

В первый день прохожу мимо первого «А» — слышу смех, шум — открываю дверь, а там первоклашки окружили паренька, тычут пальцами и хохочут.

— Что?

— Обкакался!!!

Я его хватя — и в туалет. Все с него постирала, надела брюки без трусов. И твердо говорю:

— Ты не обкакался, ты просто пукнул! Понял?

И то же объявила в классе. Иначе до выпускного бала он им запомнится как «тот, который...». Так творится история. Из тысячи возможных вариантов отбирается один, касательно жизни одного человека или целого народа, как правило, не имеющий отношения к истине, и внедряется в сознание человечества.

Ребята:

— Ха-ха-ха!!!

— И что такого? — я грозно говорю. — А ну-ка поднимите руки, кто никогда в жизни не пукал?

Все смолкли и расселись по местам. Так началась моя педагогическая поэма.

Я вздумала внести свежую струю в учебный процесс.

К черту муштру и показуху, в которой я росла, двойки по математике, дневник, испещренный восточной каллиграфией (нажим должен быть легким, движение точным, при этом кончик пера слегка поворачивается, так что след оставляют две его грани): «смеялась», «болтала», «орала на физкультуре нечеловеческими голосами», «бегала, взмыленная, на перемене»...

Мне же хотелось, чтобы мои ученики расцветали под моим теплым любящим взглядом. Мы любовались бы мирозданием, пели, как птицы, читали стихи (только не «Белую берёзу» Есенина, прости господи, и не «Мороз Красный нос»).

Третье тысячелетие на дворе, пора понять, наконец: не для того, чему нас учили, рожден человек! Он рожден быть свободным от земного тяготения, от условностей, логики, от законов мироздания, боли, страха, старости и смерти. Чтобы разгадывать тайны Бытия, пробуждать спящих, вселять надежду в отчаявшихся — вот это все, что мне взбрело на ум после эпохального удара каруселью!

Не знаю, почему, но никто не оказался в восторге от моей методики. Народ, почуяв свободу, мгновенно отбил от рук, давай беситься, ходить на голове, такой учинили бедлам и тарарам! Меня просто уволили с треском, вот и весь сказ.

Флавий предположил, что это был провал на уровне медитации:

— Вектор, в сущности, верный, но у тебя не хватило силы разогнать мрак.

И рассказал про китайского императора, который три года сидел и что-то бубнил себе под нос. При этом Поднебесная процветала, и его влияние простиралось далеко за ее пределы.

Сам он по распределению угодил в деревню Дальний Мамон — преподавателем химии, физики, биологии, литературы, математики, русского языка, истории, географии, физкультуры, пения и рисования. Только законченному отшельнику было подвластно там не спиться. При том что Флавий не имел ни малейшей склонности к охоте и рыболовству, хотя грибник он, считай, от бога. Фёдор ходил с ним в Шатуре по грибы, вернулся потрясенный, вокруг — ни единой шляпки, а Флавий корзину

насобирал, и не какую-нибудь шелуху — и белый, и подберезовики, и еловый груздь, — сплошь благородный гриб к нему шел косяком.

Разочаровавшись в педагогике («Я никогда ничего не встречал такого, в чем бы не разочаровался!»), он стал натурщиком в Суриковском институте, потом грузчиком в молочном магазине, где моего друга заприметил Союз православных хоругвеносцев. Его мобилизовали на Крестный ход — нести хоругвь как символ победы над смертью и дьяволом.

Увы, на поприще святом Флавию не суждено было закрепиться, хотя его торжественно благословили и облачили в диаконский стихарь поверх подрясника, поскольку эти самые хоругви на гулливеровских шестах — чего там только нет — металл и древесина, серебро и золото, бархат и парча, обильно отороченная бахромой с кистями!

— Их не каждый от земли-то оторвет, — он жаловался. — А уж тащить часами поперед благоговейного шествия — и вовсе считанные богатыри остались на свете!

Ладно, мы сочиняли сценарии детских праздников, продавали воздушные шары, попутно Флавий стал уборщиком в кинотеатре «Повторного фильма», а параллельно музыкант Голопogosов, с которым Флавий в 90-х концертировал на Арбате, позвал его исполнить основную партию в его балете «Сотворение мира».

На протяжении долгих лет, внося поправки и раздувая кадило, он созидал симфонию в шести частях для флейты, гобоя, кларнета, фагота, валторны, двух труб, альт-саксофона, рояля, пяти скрипок, трех виолончелей, контрабасов и литавр.

— Это будет подлинное священнодействие, — говорил он Флавию, попыхивая трубочкой, — только музыка и свободный танец, повествующий о первой на свете трагической любви! Прикинь: идет увертюра, занавес открывается — на сцене лежит Адам, пока что вялый и безынициативный. Из-за кулис к нему тянется божественная длань из папье-маше. Вступают медные духовые — и меж протянутых друг к другу рук свершается чудо: под гром литавр Адам получает искру жизни. Он пробуждается телом и духом, после чего начинается вся эта канитель. В роли Адама я вижу тебя, старик. А в роли Евы...

— ...у нас будет вот эта Райка, — сказал Флавий, худой, коротко остриженный, в красной клетчатой рубашке, средний палец в чернилах, — прима Парижской Оперы Матьё Ганьо, не терпящий возражений.

Повисло унылое молчание. Голопogosов, поначалу и не взглянувший в мою сторону, пристально воззрился на меня черепаховым взглядом.

— А может быть... — начал композитор, когда вновь обрел дар речи, — попробовать на эту партию пригласить...

— Ни в коем случае. Я могу отвечать только за себя и за Райку. Но ей надо задать жесткие рамки.

— Понимаешь, какая штука, — признался Голопogosов, не сводя с меня смущенного взора, — я еще не знаю, как изобразить хаос бытия до сотворения мира...

— Я знаю, — ответил Флавий.

— Я даже не знаю, как Бог Саваоф сотворит мужчину...

— Я знаю, — сказал Флавий.

— И просто понятия не имею, как показать секс!!! — выдал Голопogosов свой последний козырь.

— Если все идет верно, финал станцуется сам собой, — сказал как отрезал Флавий, выразив хоть и туманную, но весомую мысль.

...В конце концов, никому не известна тайна своего предназначения. Зато наша деятельность была направлена, как солнце Махаяны, встающее на небесах, — исключительно на радость, счастье и благополучие всех живущих.

От отца он не получал ни полушки. Летописцы отмечали, что Амори был скуп, горд, честолюбив, угрюм, легко поддавался влиянию и слегка заикался. Когда-то он приложил немало сил, чтобы его признали королем. А тайное притязание на иерусалимский престол злопыхателей, которые нарочно раздували слухи о непотребных занятиях наследника трона, довело Амори до белого каления, вследствие чего финансы Флавия и вовсе запели романсы.

Не то чтобы, как говорится, нагота и босота, но, скажем, во время киносеанса в буфете, убирая со столов посуду, он подъедал за кинозрителями.

— Ты только не думай, — говорил он мне с владетельным видом, которого не терял даже в периоды самого глубокого падения. — Я всегда смотрю, что за человек не доел. Для меня это важно!

Он так исхудал — рубаха навыпуск, сядет на газоне в позе лотоса и повторяет установки от какого-то экстремала, задумавшего проверить: может ли человек так себя накачать, чтобы пересечь Атлантический океан на байдарке. Переплыл, выжил, выдюжил, неделю не спал, прорвался сквозь галлюцинации, всю задницу себе отсидел, и его ответ был такой:

— НЕ МОЖЕТ!!!

Примчишься к нему на свидание, опоздаешь минут на сорок, русским языком объясняешь, что поезд в метро шел очень медленно.

— ...Даже иногда ехал в обратную сторону?! — сурово спрашивает Флавий, и вся его аутогенка со свистом летит коту под хвост. А в чем причина? Жди, радуйся грядущей встрече, дари внутреннюю улыбку печени, селезенке, почкам, поджелудочной железе, мочевому пузырю... А он злой, угрюмый.

Я спрашиваю:

— Ты что, мне совсем не рад? — упавшим голосом.

— Не то что не рад, — орет Флавий, — я просто в ярости! Вот бабушек вижу на танцплощадке — и чувствую радость. Я улыбаюсь им естественно. А когда тебя вижу — вообще нет никакой радости, только бессильная злоба! Ну не могу ж я искусственно улыбаться. Я пришел вовремя, купил тебе орехов, шиповника, изюма, баночку меда, вот жду тебя сорок пять минут — для меня это сверхвнимание к женщине!

А станем расставаться, вытащит из рюкзака свои дары и скажет:

— На, пока будут орешки, будешь помнить меня, а уж как закончатся...

Флавий был стопроцентной истинной совой. Вдвенадцать он видит предпоследний сон, в семнадцать — начинает отдаленно походить на человека, в восемнадцать — постепенно воцаряется гармония из хаоса, в двадцать ноль-ноль — он уже цветущий куст роз.

Спать он ложился не раньше пяти утра. Это было его заветное время, когда он сочинял сюжеты полнометражных боевиков и обреченно рассылал их по киностудиям. Однажды случилось невероятное — Флавию позвонил директор частной киностудии Б.И.Тэфтелин из Одессы: «Я покупаю у вас три сценария». (Флавий отправлял сочинения пакетом.)

Дальше все как-то затуманилось, телефон Б.И. был наглухо занят, наконец, он взял трубку и ответил: «Берем два», — Тэфтелин ехал в машине. Потом: «Один». И вдруг добавил: «Можете приезжать за авансом».

Он это слышал собственными ушами.

Мы возликовали. Слава и деньги — вот что всегда ускользало от нас с моим другом, моей негасимой и вечной любовью, и, даже забрезжив на горизонте, таяло как мираж. Но мы были молоды и не собирались сливать конденсат. Одно только слово «Одесса» рождало в нас безрассудную надежду. Как говорил воздухоплаватель Уточкин, Одесса — пиратское место, где всегда есть презренный металл. А Шолом Алейхем, сочинявший свои рассказы в том же доме под номером двадцать восемь с колоннами,

с арочными окнами от пола до потолка на улице Канатной неподалеку от пересечения ее с Еврейской, на той же лестничной клетке, куда мой родной двоюродный дедушка Толя в семейных трусах по колено выходил подымить беломориной, гордясь, пускай не во времени, а хотя бы в пространстве, таким потрясающим соседством, — писатель Шолом Алейхем предполагал, что в *Одессе деньги черпают лопатами, а золото валяется прямо под ногами*.

Флавий никогда не бывал в Одессе, в отличие от меня, исходившей Одессу вдоль и поперек с нашим Толей, буйно помешанным краеведом и мемуаристом. Бывало, заглянем в какой-нибудь дворик — тишина, под окнами вишни, в сердёдке — орех вековой, под ним высохший колодец, дикий виноград всюду вьется, парусят на веревках пододеяльники с простынями... Двор как двор, такой же, как все одесские дворы, вроде ничего особенного, — однако тут же, не сходя с места — гипсовый монумент не пойми кому. Толя вздохнет блаженно, таинственная улыбка заиграет на его губах — и понеслось:

— Людвик Лазарь Заменгоф, доктор Эсперанто, создавший язык дружбы и любви для нашего обреченного на цеховщину Вавилона! Еврей, конечно, кому больше всех надо? — И Анатолий Авенирович нежно обнимет за плечи бюст, прошедший огонь и воду (насчет медных труб сомневаюсь).

— Реальный крендель, — откликнется толстенький лысый мужичишка совершенно русской национальности, выйдя покурить на балкон и заслышав Толины речи. — Эх чего вздумал: чтобы на идиш говорил весь мир, а не только Брайтон, Жмеринка и Крыжополь.

— Я вас умоляю, — махнет рукой Толя, увлекая меня на эти залитые медовым светом улицы, в переулки и дворы.

Жаль, я нечасто встречалась с ним, может, я ошибаюсь, но мне кажется, что со мной бы он поделился чем угодно, даже просто из желания удивить меня. Его так и звали одесситы — зейделе¹ Толя, нашего Анатолия Авенировича Яковлева, наследника всех эпох, помнившего наизусть каждый камешек, трещинку, стоптанное крылечко, арочку и балкончик, слуховые окошки, печные трубы с флюгерами, пожарные лестницы... Он слагал о них поэмы.

Толя умер, когда вел экскурсию по Приморскому бульвару, так ему дорога была старая Одесса, видимо, захлестнули эмоции.

— Кстати, Одесса утопает в акациях, — говорила я Флавию. — Ведь ты так любишь акацию...

Как раз недавно он закатил мне чудовищный скандал:

— Мы такие разные люди! — кричал. — Я больше и больше в этом убеждаюсь. Я не понимаю, как так? Я ей говорю: зацвела белая акация. Я думал, она весь год ждет этого момента, спит и видит. А она: «Да? А у нас во дворе тоже зацвела — желтая...» Желтая! Как ты могла! Это все надо забыть, чтобы такое ляпнуть! Все хорошее, что было в жизни, перечеркнуть!!!

Я хотела его проводить на поезд, махнуть платком.

— Не суетись, — сказал Флавий, — все равно опоздаешь.

— Если и опоздаю — минут на десять, не больше...

— Ну да! Небось на все полчаса!

Стояла поздняя весна. Утро было пасмурное, слегка моросило, но гигантские платаны смыкались над головой нашего героя, образуя густой зеленый шатер, обнимали крыши, заслоняли прохожих от дождя. Временами из-за облаков проглядывало солнце, ветер шевелил листву, солнечные блики то вспыхивали, то гасли на стенах и на асфальте. Пахло скошенной травой, морем, откуда-то из минувших дней приносило

¹ Дедушка (ид.).

ароматы фиников и орехов, апельсинов, ямайского перца, кофе, ванили и корицы — стойкий дух колониальных специй, некогда царивший на Греческой улице, по нечетной стороне которой шагал мой бесценный друг, распахнутый черноморским ветрам, красивый и кучерявый, чтоб он был счастлив! — ну просто представитель кинобизнеса!

Девушки смотрели на него зачарованно, юноши провожали ревнивым взглядом — ибо каждому встречному было ясно: это чемпион — и флаг ему в руки.

Местная фабрика грез располагалась на углу Пушкинской в здании бывшего Одесского учетного банка. Над окнами с тех еще времен сохранился покоцанный барельеф Гермеса в крылатом шлеме и крылатых сандалиях, с волшебным жезлом, посылающего путнику удачное стечение обстоятельств и одновременно столь же продуктивно содействующего жуликам и пройдохам! — одно лишь его появление неминуемо предвещало выгодную сделку.

— Но когда я вступил в дирекцию, предвкушая звон литавр, пение труб и залпы салюта, меня форменным образом послали на хер! — сообщил Флавий, как только вновь, уже совсем в другом настроении, оказался под лукавым Меркурием.

— Как же они это объяснили?

— Сказали: им сразу ничего не подошло и не понравилось, но Борис Израилевич не любит никого огорчать, поэтому ответил уклончиво. САМ, говорят, в Каннах — *возглавляет жюри*.

— Я тебе звоню в суицидальном настроении, — докладывал Флавий — уже над Польским спуском на Строгановском «мосту самоубийц», — если б не высокая ограда, — бросился бы вниз головой на мостовую. Кстати, где Потёмкинская лестница, не знаешь? Видел бы Сергей Эйзенштейн, который ее восславил, как обмелывали коллеги!

Ночью прилетела весть, что он в порту нашел приют в кают-компании какой-то разбегенной ржавой посуды. Флавий думал, она «Гении» называется, а она — «Генуя», но и эта сойдет, надо ж где-то уронить усталую голову.

— Скорешился тут с одним Изей, — он рапортовал на рассвете. — Вышли в море на окунька. — В трубку задувал ветер, и слышался плеск волны, охаживающей бока их потрепанной шаланды. — Изя знает уловистые места! На крючок насаживает репейник и колеблет мормышку. Триста пятьдесят колебаний в минуту — и окунь на крючке!

Спустя несколько дней мой товарищ, заядлый вегетарианец, отправился с Изей на охоту.

— Я сообщил о своей позиции Изе, — отвечал Флавий уже с ласкающей слух одесской интонацией. — Я говорю ему: Изя! Если б ты охотился на тигров, львов — барабан тебе на горло! А убивать трусливого зайца — это, я тебе скажу, не по мне!

— А Изя?

— Обозвал меня ПОЦифистом. Но я такой, каким меня мама родила. А убеждать Изю переметнуться в мой стан, как я понимаю, голый вассер...

Впрочем, Изя, парень не промах, научил обездоленного хоругвеносца подворовывать на Привозе и питаться в универсаме:

— Дырку проковырял, — поучал он Флавия, — печенинку за щеку положил и ходишь — как будто продукты выбираешь... Ты только посмотри на эту селедку! — шептал он Флавию. — Это ж не селедка, а самый цимес, если не сказать нахыс!..

Месяц под покровительством Изи друг мой ошивался в Одессе, часами валялся на пляже, почитывая «Дао дэ цзин», ночевал под звездами Ланжерона или в Александровском парке на скамейке, засыпая под шелест платанов с тополями. До поздней ночи танцевал возле ротонды, под куполом которой, залитый огнями, наяривал маленький оркестрик — в отличие от танцплощадки в Сокольниках, где врубали фонограмму, и дело с концом. А тут живая жизнь — труба и флейта, даже

саксофон и веселый барабанщик с кленовыми палочками. Как они играли «Киевский трамвай», «Рио-Риту», «Брызги шампанского»...

Флавий кружил, кружил среди танцующих пар, он всегда один танцует или с воображаемым партнером, кружил в этом влажном воздухе, напоенном цветущими катальпами, ночной фиалкой и львиным зевом, жасмин цветет, расцветает липа... Кружил себе, никого не трогал. Но, видимо, все же спутал карты кому-то, испортил обедню, наступил на чью-то тень, — однажды его повстречали на узкой дорожке ночные колобродники, забубенные головы, велели убираться подобру-поздорову.

Может, как-то оно бы и обошлось, но это же Флавий! Он распахнул объятия:

— Ну, здравствуй, простой народ! Рассказывай: чем дышишь, о чем мечтаешь, на что надеешься?

Вернулся с заплывшим глазом, еще и сгорел на пляже, спина облезла, чешется, скинул рубашку, попросил намазать его кефиром.

— Взгляни-ка, — сказал он, — у меня там крылья растут? Или плавник?

Минули те времена, когда Флавий меня обучал воодушевляющей медитации на свое тело, как на труп в разной степени разложения, — отныне я в этом не испытывала потребности.

С тех пор, как чела моего коснулась карусель, во мне свирепствовал сокрушительный восторг, целиком и полностью беспричинный! То были все козлы, а теперь сплошные будды. Хмурые будды, угрюмые, исполненные печали, это свойственно нашей российской действительности: шторм ломает бизань-мачту, ужасающая обстановка в стране, эпидемии, гнев, апатия, разобщенность, бряцание оружием, железные тиски кармы, ханжество, фарисейство, безалаберщина и бестолковщина.

Даже Фёдор, в кои-то веки исполнив супружеский долг, молча лежит неподвижно, уставившись в потолок, вдруг вздохнет и скажет:

— Куда катится мир?!!

А я сияю как ненормальная, у меня голова в темноте засветилась фосфорическим светом. И постоянно улыбаюсь. Иду и улыбаюсь, на кладбище у бабули убираюсь — улыбаюсь, даже сейчас, когда пишу эти строки, сижу и улыбаюсь.

А ведь некоторых это раздражает! Хотя я не понимаю, почему?

Соня решила, что я сбрендил и записала меня на МРТ головы.

Сонечка — это песня, однажды смотрю из окна — моя крошка тащится с работы, как водится у докторов по вызову — «без ног», и что-то огромное и бесформенное белеет у нее на плече. Оказывается, пациент, желая отблагодарить за чудесное исцеление, привез ей с севера шкуру белой лошади. Она ее, бедная, приволокла, а что оставалось делать? И эта шкура на долгие годы распласталась в доме, теперь она, слава Аллаху, куда-то подевалась.

Меня поместили внутрь магнитной капсулы (белый саркофаг с закругленными краями) — уложили на плоский стол, скользивший, словно язык в пустом цилиндре. Руки, ноги пристегнуты, голова зажата со всех сторон, во рту — натуральная боксерская капа, чтоб не лязгать зубами, в вену воткнут катетер с контрастным веществом.

Лежу в трубе, залитая светом, а то складывалось бы впечатление, что тебя живьем заглотила Левиафан. Хриплый устрашающий рев белых раковин, хор ночной цикады, пилящие, режущие, сверлящие звуки пробирают до костей. По спине разливается жар, елки-палки, меня тут не поджарят, как карася?

Застрекотал пулемет, его подхватил второй, и ответил с другого берега третий, завязался свирепый бой. Кончились патроны, пулемет замолчал. «Петька! — кричит Анка, скидывая шапку. — Что делать будем?!»

Глядь, Чапай — на белой нашей лошади ожившей! Ураааааааа!!!

Тут и душа покрепче не вытерпела бы, а уж моей сам бог велел — взмыла и полетела, подтверждая этой выходкой безумной радужный прогноз, что все развеется и разлетится, даже невидимые атомы, протоны неделимые, а я останусь тем же самым — никем, ничем, живой субстанцией веселой, чистейшим бытием!

Леса, поля, дорога петляет через лес, и среди вековых елей тянется тропинка к церковной колокольне и тусклым куполам Николо-Берлюковского монастыря, куда я в детстве с Соней ездила навещать художника Золотника в шестнадцатую психбольницу.

От Щёлковского автовокзала на автобусе, мимо заброшенных деревень, лесом, лесом, до остановки Громкое, потом пешком, вот этой вот дорожкой, пока вдаль не замаячит колокольня, остатки обвалившейся стены и храмовые купола, проросшие деревьями.

За железными воротами — два храма обветшалых: в одном — кухня, в другом лечебно-трудовые мастерские, а уж за ними корпуса, где раньше обитали монахи, теперь их кельи переделали в больничные палаты.

Дверь наглухо заперта, на звонок в белом халате отзывалась медсестра преклонных лет Ярослава Николаевна, которую Илья Матвейч по-свойски величал Ярославной и всякий раз при встрече что-нибудь да прочитает ей из «Слова о полку Игореве». А поскольку встречи между ними происходили буквально каждые полчаса: то укол, то клизма, то успокоительные таблетки... — всякий раз ей, бедной, приходилось выслушивать, что Ярослава Николаевна *полетит кукушкою к реке Дунаю и омоет князю раны на его кровавом теле*.

И развеявшая по ковыль-траве свое веселье Ярославна провожала нас в гостевую комнату, там два стола и скамеечки, мы скидывали пальто, усаживались за стол, раскладывали дары и гостинцы, глядишь, в больничной рубахе к нам явится наш светозарный художник.

Увидит нас — радулыбается, он всегда радовался нашему приезду и обязательно спрашивал, кто именно что передал и при каких обстоятельствах?

Мы с удовольствием перечисляли — намного более подробно, чем это было, додумывая жаркие приветы и нежные слова любви. Илья Матвейч всплескивал руками, охал, все принимал за чистую монету. Потом обнюхивал гостинцы, блаженно прикрывал глаза и принимался за бутерброды, курицу и тепленькие пирожки. Соня ему знай подкладывала капусту, огурец, а когда с пищеблока приносили баланду-суп, Илья Матвейч уже терял интерес к местной кухне, но мать моя убеждала его, что всухомятку есть вредно. Наблюдать, как пирует Илья Матвейч с гостями из иных миров, подтягивались и другие затворники в темно-синих больничных куртках. Они с любопытством рассматривали меня и Соню, тянули к нам руки, заглядывали в глаза.

— Да вы не бойтесь, они у нас тихие, — говорила Ярославна, прогоняя их из комнаты полотенцем.

Один — с подбрityми усиками и зализанными назад волосами, смахивающий на крестного отца в исполнении Роберта Де Ниро без зубов, длинным ногтем на указательном пальце потрогал Сонечку, чтобы понять — это реальность или продукт его воображения. Я просто икать начинала от ужаса, когда они приближались. Соня же и бровью не поведет, только угостит главу мафиозного клана яблочком.

— Яблоки становятся жестче с каждым годом, — скажет могущественнейший Дон Вито, решительно отклонивший предложение мафии инвестировать свои грязные миллионы в наркобизнес.

— Зубные протезы не нужно лениться надевать, дорогой, — ласково ответит ему Илья Матвейч, листая «Системы дифференциального исчисления» Фихтенгольца, которые папочка заботливо передаст соседу, памятуя о его страсти к учебникам высшей математики.

— Илья переживает эти формулы, как преступание предела, как вхождение

в бездну, куда никто до него не входил, — объяснял этот странный феномен Абрикосов. — Он своей живописью постиг, что свет — волна и основа вселенной!

— Ну? Что вам еще не хватает для счастья? — спросит Соня.

— Красок и кисточек! — ответит Илья Матвейч виноватым тоном. — В остальном для счастья у меня много лишнего. — Обнимет нас и пойдет в палату, прижимая к груди остатки пиршества.

В этой рубаше с прямоугольной синей печатью на плече и отчетливой надписью «больница № 16», в широченных пижамных штанах не по росту, он казался мне самым бесприютным существом на белом свете.

Странно, что спустя годы и годы — в своем блуждании души, — я оказалась над куполами Берлюковских храмов и тут же увидела его мешковатую фигурку со спины. Он стоял на фоне монастыря и что-то рисовал, какое-то лицо и точки, точки по лицу. На молчаливый мой вопрос, что он рисует, Илья Матвейч внятно мне ответил: «Это ветер... лицо человека, которого уносит ветер».

О, моя абрикосовка, навсегда утраченная, дом, затерянный в ночи, занесенный снегом, ты только и ждешь момента, чтобы ожить во мне, — с такой готовностью и яркостью мои воспоминания всплывают из глубин прошлого, выступают из тьмы, пробуждая незримые силы, вороша таинственные знаки.

В юности мы грезим об идеальной любви, хотя понятно, я не эталон красоты — поверхностный взгляд не приметит, какие сокровища таятся за этим неброским фасадом.

Сколько горечи пришлось мне испытать, пока я осознала, до чего божественно все, что мне подарила природа, а также какое благо — с юных лет развивать мудрость, успокоить ум и с ясным сердцем нацелиться не на какие-то там шуры-муры, а на здоровую и крепкую семью!

Муж мой казался мне человеком, с которым я буду неразлучна и в этом мире, и в ином.

Но Федька заранее предупредил:

— И речи быть не может! Ну, в этом еще туда-сюда, но в том... я тебя попрошу...

Блуждание в потемках по залитым водой извилистым коридорам в недрах земли казалось Фёдору возвращением в материнскую утробу, где он находил покой, пищу, нежность и тепло, а главное — изначальное одиночество, которое освобождало от его личной истории, имени и фамилии.

Впрочем, ускользая, он возбуждал мое творческое воображение. В нем таилась какая-то загадка, мне даже казалось, что, если бы он укоренился в доме, она бы исчезла, оставив только пустоту и легкое разочарование.

Ладно, думаю, я буду бежать, бежать по перрону в клетчатом зеленом пальто, ничто не может сравниться с этим моментом, что я сейчас встречу любимого мужчину. А он шагает навстречу — обветренный, загорелый — и несет мне в подарок... череп неандертальца!

Притом от Федьки исходила шальная сексуальная сила, которую он сублимировал, погружаясь в лоно земли. Его привлекало сочетание твердой оболочки и ее содержимого, полного мягкой и влажной органической жизни. По логике вещей, с ним давно бы стоило развестись, но Флавий, как это ни парадоксально, не одобрял столь решительного шага.

— Учти, — говорил он, — если ты бросишь Фёдора, то я на тебе не женюсь. Твой муж Фёдор — последний романтик на этой Земле.

А Фёдору он говорил в те редкие минуты, когда, например, Федьку вынесло во время половодья мощным потоком грунтовых вод через органную трубу из Метеорного грота Кунгурки на реке Сылве:

— Ты ищешь центр мира, но это неоднозначное понятие: аборигены Австралии

в своих скитаниях таскали за собой священный столб, соединяющий землю и небо. Ты, Фёдор, кочевник, поэтому пуп Земли обязан быть при тебе, быть при тебе, если, конечно, не ты этот пуп.

— Что касается меня, — сообщал нам Флавий на голубом глазу, — я пуп. Я Пуп Вселенной и Большой Взрыв, Рождение Миров, Последний День Помпеи, и, чтобы мне этим быть, никуда не надо ехать и идти! Вот я тебе расскажу, как это прекрасно всю жизнь сидеть дома. Всю жизнь — абсолютно безвылазно!

— А что, Флавий — пенсионер? — спрашивал Фёдор.

— Чегой-то он пенсионер?

— Ну, он же, наверно, инвалид... — заявляет мой муж, мощный телом и несгибаемый духом.

— С чего ты взял???

— По крайней мере, — отвечает, — он не производит впечатление процветающего человека!

И это после того, как Фёдор спустился к нам с Алтайских гор, где прожил в каком-то гроте чуть не полгода. Выбравшись из пещеры, он обнаружил заброшенную баньку охотничью на берегу, истопил ее по-черному, камни, бочка внутри — прокопченные, покрытые толстым слоем сажи, ни стать ни сесть, кое-как помылся, согнувшись в три погибели, — тронул стенку — опять весь в саже.

Выполз оттуда, как праведник Иона из чрева кита, и голышом стал плескаться в горной Катунь, которая несет хрустальные воды с ледников Белухи. А по бережку нетвердой походкой идет алтаец с ведром воды и бутылкой водки — распашная шуба до пят, даром что на дворе лето, в круглой шапке, подбитой барашком да еще с меховым околышем.

Присел на камешек, хлебнул горькую, залил жар в груди ледяной водой из ведра да и говорит:

— Сегодня Каспа сбивает ведьму со следа, обмывает в Катунь покойника.

А в этой Каспе, деревне, три километра вверх по течению — у всех поголовно сифилис, причем наследственный.

Федька выпрыгнул из воды как ошпаренный:

— Сам видел?

— Видел... приготовления, — отвечал мужик, грея душу поллитрой.

— *Окропи меня иссопом, убели белее снега...* — забормотал Федька, и в чем его мать родила стал рассчитывать гидрологическим способом — время, скорость реки, расстояние до Каспы... Успел или не успел? Угодил или нет в воды ритуального омовения?

— Знаешь, чего я боялся больше всего? — он потом признавался. — Вернись я домой сифилитиком, ты бы в жизни не поверила в мою невинную версию!

— Конечно, я бы решила, что ты переспал с телеуткой... Вернее, с теленгиткой...

— Не смей путать теленгитку с телеуткой! — вскричал тут Фёдор. — Это большое оскорбление для них обеих. Телеутка — это ТЕЛЕУТКА. А теленгитка — это ТЕЛЕНГИТКА!

Не понимает, что я давно ощущаю себя человеком не от мира сего! Кстати, на снимке головного мозга у меня обнаружилась какая-то странная картина. Соня показывала и травматологу, и нейрохирургу, оба в один голос:

— У вашей дочери, — говорят, — открылся сознательный доступ к таким частям мозга, которого люди обычно не имеют. Префронтальная кора, ответственная за мыслительные функции, недоразвита. А вот лобные доли, распознающие бессмысленные поступки, в результате травмы оказались увеличены, умеренно деформированы и просветлены, при этом гипоталамус вырабатывает усиленную дозу эндорфина, дофамина и серотонина. Поэтому на снимке мы видим психотип восторженного холерика, оторванного от жизни, зависшего между небом и землей!

В свете возникшей аномалии я пыталась разрешить не только собственные проблемы, но всего человечества. Мне казалось, мир катится к лучшему — и это на фоне оскудения всего и вся! Мир барахтался в моей любви. Буйный восторг беспричинный разгорался с годами, ну, прямо грудь не выдерживала, ей-богу! Проснешься утром и дуреешь от нахлынувшей радости. Что бы жизнь ни преподносила, я приветствовала, я наслаждалась ее дарами.

Кроме того, обнаружилось, что моя зрительная кора в момент удара о карусель закоротила с той частью мозга, которая производит математические вычисления. Отныне меня зачаровывали самые простые вещи, например, капли дождя в луже. Я вдруг увидела, что во время дождя обычная лужа на дороге превращается в сложный зыбучий узор, один наплывает на другой, его перекрывает третий, создавая божественные фракталы — вроде снежинок или звезд.

И так повсюду — в морских волнах, листе, траве, дуновении ветра, в далеком телодвижении — все было только вибрацией, рисующей осколки орнаментов. Все предстало немного призрачным и прозрачным, изображения слегка двоились, а то и троились, что мне как раз пришлось по душе, меня давно удивляло: отчего мы так четко нарисованы в пространстве, это казалось профанацией.

Сонечка не успокоилась и записала меня к психиатру.

Я пришла на прием и без обиняков спросила:

— Это сумасшествие?

— ...Но самая лучшая из всех возможных форм, — ответил он.

— Я хочу донести до тебя очень важную мысль, чтобы еще один человек ее имел в голове, а не только я, — говорил Флавий, стоя на холме над обмелевшим прудиком, заросшим листьями кувшинок. — Вот шекспировский Отелло — это же полнейший мудака. Его надуманные монологи, ужимки, вытаращенные глаза — все такое ничтожное — муха, раздутая до слона! И король Лир то же самое! С той и другой ролью справится только актер, который бы с серьезным видом все это нес, а сам лично не был бы задействован в этой дребедени.

— То есть ты! — говорю я.

— Да! Я понял — как небо открылось, — гуляя в Сокольниках: я могу быть Фальстафом, Ричардом, Скупым Рыцарем, Гамлета я играю как никто. Я никогда не был ревнив, но я такой Отелло, каких нет и не будет! Он душит Дездемону, а его душит смех! То же — и в писательстве: о жизни, о любви, о смерти должна идти речь, только о вечном, больше ни о чем! А иллюстрировать дикими какими-то сценами, безумными. Моя рожа. Или наши с тобой.

Как раз незадолго до этого ему позвонили и сказали, что к нему с предложением собирается обратиться знаменитый продюсер Бекмамбетов.

— Я даже стал скорее бежать отовсюду домой, — говорит Флавий. — И, когда приходил, спрашивал у мамы: «Бекмамбетов не звонил?»

— Ты знаешь, — сказал он мне через несколько месяцев, — я уже начал волноваться: все-таки богатый человек. Вдруг телохранители зазевались, или какой-то завистник... Прямо хочется позвонить и спросить — все ли с ним в порядке?

Но когда он совсем отчаялся и решил махнуть на кинематограф рукой, вдруг позвонили с «Мосфильма»! Его бросило в жар, подумал, там крышу всей студии снес его синопсис.

А они спрашивают:

— Вы не хотели бы сняться в массовке «похороны Гоголя»?

Флавий был разочарован, но взял себя в руки и ответил, что придет, причем не один, а с партнершей.

Взволнованные предстоящей церемонией прощания, мы ехали на студию в троллейбусе, как вдруг на Бережковской набережной — с трудом взобравшись по

ступенькам — вошел и прямо напротив нас грузно опустился на сиденье Илья Матвеич Золотник.

О, как она тянется, тонкая нить, прошивая тьму времен, не позволяющая нам исчезнуть в полосе неразличимости, напрочь позабыв друг о друге. Куда легче было бы разминуться, зазеваться или заглядеться на что-нибудь, попросту не узнать в сильно постаревшем человеке давнего соседа по квартире!

Что нам пытаются сказать этой магией совпадений, какую посылают весть из той неведомой точки мироздания, где вершатся судьбы, если, несмотря на метаморфозы и хитросплетения орбит, в тридцать четвертом троллейбусе, идущем от Киевского вокзала на «Мосфильм», я снова повстречала Илью Матвеича.

За время, что мы не виделись, он изрядно обветшал, вместо пиджака на нем обосновалась меховая душегрейка с растянутыми вязаными рукавами, даже заплатки на локтях он проносил до дыр, на трикотажные штаны нельзя было смотреть без слез, дырявые носы матерчатых туфель обнажали большие пальцы ног с отполированными до блеска крупными, круглыми ногтями.

Но это не все. В руках Илья Матвеич держал темно-коричневого медведя, почти что черного, траченного молью, в котором я узнала старого друга Золотника, до боли знакомого по моей прошлой жизни в доме на Николаямской, подаренного бабушкой Илье Матвеичу на день рождения в Евпатории, хотя она подарила и верблюда, но верблюд подевался куда-то, а медведя, Илья Матвеич рассказывал Сонечке на кухне, поджаривая свою знаменитую картошку, пытался забрать себе во время войны один фашист, когда они вошли в Евпаторию...

Я не говорила? Не только за мольбертом — и на коммунальной кухне, завешанной простынями с пододеяльниками, пропахшей кипяченым бельем и гречкой с котлетами, — было у Золотника тайное могущество: Илья Матвеич практически без масла жарил потрясающе вкусную картошку! Это происходило редко и, как правило, в новогоднюю ночь, но такие ломтики — хрустящие снаружи, мягкие и сочные внутри — я больше никогда нигде не ела.

Художник щедро приоткрывал завесу над рецептом картофельного шедевра Екатерине Васильевне Толстой, Соне и Берте Эммануиловне, супруге Вульфа Борисовича, интеллигентного хромого эсквайра (тридцать человек соседей — только бы не перепутать!). Даже надменная Лидия Петровна Магницкая пыталась разгадать тайну его картофельного дарования.

— Девочки мои! — отвечал он, не таясь на этой нашей многолюдной кухне. — Перед жаркой — не считите, курочки, за труд — погрузите тщательно промытые плоды... *le pomme de terre*¹, — переходил он вдруг на французский, адресуя всплывший в голове галлицизм Толстой и Магницкой, — в ледяную воду и с полчаса помурьжьте!

Погружали! И мурыжили! Но рецепт Золотника не поддавался объяснению средствами обыденной логики. Ибо одно его появление меняло вид самых простых вещей, а в глазах отражались не замусоленные обои, комод с тараканами, половники и кастрюли, но что-то далекое и невидимое никому из насельников, возможно, бабушкин сад в Евпатории, огромный для маленького города, окруженный густыми кустами роз, из их лепестков бабушка варила шербет!

— Наш цудрейтер, — ласково звала его Берта, что значило на языке ее предков — «полоумный».

Хотя Илья Матвеич не был ни придурковат, ни глуп, наоборот, он поражал своим удивительно здравым суждением, склонностью к мечтательности и непостижимым смиренномудрием.

Короче, история гласит: в апреле тысяча девятьсот сорокового года на день рождения бабушка подарила Илье Матвеичу плюшевого медведя.

¹ Земляное яблоко — картошка (фр.).

— Представьте, Сонечка, он был почти с меня ростом, — рассказывал Золотник.

А мы с его племянником Вовкой и тогда уже одноглазым топтыгиным ошивались у них под ногами. Медведь был такой уютный — из рук выпускать не хотелось, я с ним спала, когда болела: отит, воспаление легких, ангина — медведь Ильи Матвеича, хлебнувший и сам в жизни невзгод, перекочевывал в нашу светелку и подставлял свое мозолистое дружеское плечо.

— Когда я обнимал его, — продолжал Илья Матвеич, — я ощущал тепло, идущее из другого мира, оттуда, где медведи становятся друзьями мальчикам, сопутствуя их судьбам...

Далее следовала история, которая почему-то навсегда врезалась мне в память, как это бывает в раннем детстве, может, благодаря своей зримой убедительности, граничащей с невероятностью во всех своих формах и проявлениях.

В июне сорок первого года они отдыхали у бабушки в Евпатории. Оттуда с мамой и сестрой отправились на Урал, а в изумрудную Евпаторию, где остались бабушка и дедушка, вошли немцы. Однажды к ним явился немецкий солдат и, увидев медведя, хотел забрать его себе. Но Илюшина еврейская бабушка, которую перед войной, наверно, по ошибке, записали украинкой и тем спасли ей жизнь, объяснила, хотя немецкий оккупант грозился их расстрелять, что медведь принадлежит ее внуку, и он отказался от своего намерения.

Прошло бог знает сколько лет с той поры, когда — под скворчание картошки в чугунной сковороде — я прижимала к себе набитого опилками ветерана, пережившего оккупацию, но не сдавшегося в плен немецкому захватчику. И вот в троллейбусе, идущем в никуда из ниоткуда, сидит передо мной и смотрит пристально в окно Илья свет Матвеич, старый мой сосед, ангельский художник!

Что видел он в этом окне? Чёрное море, евпаторийские пляжи, изогнутую линию домов, построенных караимами в мавританском стиле кудрявых дворцов Севильи и Гренады? Мечеть Абдуррахмана из Кордовы, где пряталась таинственная ниша под куполом морской раковины, вырубленной из цельного камня, похожей на ту, что стояла у бабушки на буфете, — ракушку рапаны, величиной с чайную чашку! Илья Матвеич прикладывал к ней ухо — и шум моря наполнял его, поселяясь в памяти, как нарисованные тушью парусники отца, белевшие на стенах.

Или буфет орехово-дубовый с большим старинным зеркалом туманным (кто это движется в нем, боже правый? так это ж ты и есть!), за дверцами резными с какими-то гербами-вензелями хранила бабушка сухие ветки чабреца, полынь и чистотел, их запах одурманивал Илью Матвеича, а сам буфет завораживал — своими шпильками и столбиками, блестящими латунными замочками, золотыми ключиками, а главное — вместительными выдвигаемыми ящиками с бельем, куда Илья Матвеич лег однажды и уснул. Как его звали, бегали, искали, приказывали не валять дурака и выходить, да он и сам не мог понять сквозь сон, куда он подевался...

Давно истаяли, пропали, казались абсолютно призрачными льющиеся в окно потоки солнца и тепла, башенка буфета, улетающая ввысь, выбеленные стены с лермонтовскими парусами, парящими в тумане, тот простор и свет, всё, кроме этого медведя, существа живого и реального.

Утратив нос и ухо, он сопровождал Илью Матвеича по жизни, деля с ним космическое одиночество, тайно приоткрывая отсутствующий глаз и указывая им на город Евпаторию, такой же магический для них обоих, как Буэнос-Айрес для Борхеса или Макондо для Маркеса. ...Кстати, если мне не изменяет память, этот медведь рычал когда-то, и довольно громко!

— Он еще рычит, Илья Матвеич? — спросила я.

Но Золотник то ли не услышал, то ли не был готов со своих небес опускаться на землю.

— Ничего не ответил Илья Матвейч, — вздохнул Флавий. — Зато медведь повернулся к Райке и произнес абсолютно человеческим голосом: «Р-Р-Р-Р-Р...»

Белый пластиковый пакет парил у меня перед окном, к нему подлетали вороны и удивленно разглядывали: не белая ли ворона, о которой они столько слышали, да никогда не видели? Обычно меня угнетала подобная картина. Мне казалась она признаком упадка цивилизации. А тут я даже залюбовалась ею.

Ведь мир вечен, сказано в буддийской космологии, которую я иногда почитаю в транспорте, — меня это настраивает на философский лад и немного приподнимает над обыденностью, — хотя в какой-то момент неизбежно его дежурное разрушение огнем.

И каждые восемь Великих Кальп после семи разрушений огнем наступает разрушение мира водой. В конце концов, от яростного ветра все регулярно разрушается, опустошается и распадается на составные элементы. А в заключении — благостный прогноз: что высшие миры не уничтожаются никогда!

Однако и у нас, на цокольных этажах встречаются храбрецы, готовые противостоять подобному развитию событий.

— Знаешь, — говорит Пашка, — что надо делать, если загорится пожар? Бежать и сразу ложиться в ванну, поскольку над водой всегда три миллиметра кислорода! Дым, пламя, а тебе — нипочем!

Или:

— Знаешь, в какой вагон лучше садиться, чтоб отлично чувствовать себя при железнодорожной катастрофе?

Теперь мы и насчет Всемирного Потопа имеем рекомендации, и ураган, сметающий род людской с лица Земли, не застанет нас под раскидистыми деревьями и шаткими конструкциями. Цунами с тайфунами тоже, как выяснилось, имеют слабые звенья.

Всю эту бездну премудрости в умы учащихся начальной школы закладывал эксперт по выживанию Игнат Печорин, тщедушный такой человек в потрепанном пиджаке, чей блеклый и лысоватый облик никак не вязался с масштабной задачей, которую он поставил перед собой: спасти обреченный на гибель мир.

Академик всемирной академии сохранения жизни на планете, почетный член Союза физического и нравственного возрождения человечества, летние каникулы Игнат Савельевич великолепно провел в сельве Амазонии с первобытным племенем каннибалов, которых накануне отправились изучать американские ученые-антропологи, бесследно исчезнувшие, словом — одно неверное движение, и Печорина там съели бы или пронзили бы сердце отравленной стрелой, такие дела.

Хотя наш учитель застенчиво уточнял, что они не каннибалы, а некроканнибалы: сжигают почивших, пепел смешивают с банановой кашей и едят. А каннибалы — в Новой Гвинее, у них он тоже бывал. И в доказательство демонстрировал фото, где он с копьем среди чернокожих людоедов, весь разрисованный, голый, а на пеннсе Игната Савельевича возвышается бутылковидная тыква-горлянка.

— Чем больше футляр — тем выше твой социальный статус, — с гордостью объяснял самобытный учитель.

— И представляешь, эта штука, — потрясенно рассказывал Пашка, — упиралась ему прям в подбородок!

Правильно сказала благочестивая старушка, почему-то именно меня выбрав из толпы, чтобы сообщить о неуклонном приближении рокового часа, когда будет изъята святая церковь, и человечество оскудеет добром, и на седьмой день не останется никого, кроме ста восьмидесяти четырех праведников...

— Правда, все они будут евреи, — добавила с грустинкой.

Не знаю, лично я каждое творение этого мира считаю верхом совершенства, с

одной лишь оговоркой: свое огульное признание человека венцом природы я по-хозяйски бы снабдила молитвой о нашем омовении, вразумлении и удобрении.

Раньше я как? Была угрюмой теткой, готовой поносить всех и каждого, зато теперь с утра до вечера у меня сплошь курбан-байрам. Смотрю в окно на майский дождь — не налюбуюсь! Хмурая осень? Загляденье! Снегопады, листопады, звездопады... Господи, давно хотела спросить: все ли Ты явил или что-то прячешь от меня?

Это же и в творчестве — полная утрата самоконтроля. Когда я пишу свои опусы или выступаю, неважно, перед взрослыми или детьми, мне лень облекать мысли в слова, да у меня и мыслей-то никаких, — я просто выхожу и даю мощный эмоциональный всплеск. Мне стали хорошо удаваться тосты в кавказском застолье.

Опьяненная восторгом, я не вписываюсь в социум. Когда по телефону спрашивают, как дела, задыхаясь от счастья, я ору в трубку: «Замечательно!!!» А ведь обычно абоненты откликаются паническим голосом: «Да. Алё». А тут такие вопли.

Даже Флавий, который понимает меня как никто, и тот мне поставил на вид:

— Ты так не ори, не надо, а то, знаешь, бывают счастливицы — что бы ни случилось — кораблекрушение, ревматизм, тропическая лихорадка, проказа, чума, слоновья болезнь, — они всегда в прекрасном расположении духа. Это ужасно действует на нервы! Что тебя распирает?

Мир представлялся мне громадной абрикосовкой, раздутой до вселенских размеров, где больше не было чужих и незнакомых лиц, куда ни бросишь взор — везде родные очертания, дружеские связи и любовные узы.

Скажем, вон в том особнячке на Китай-городе уютился литературный журнал, куда я отнесла тройку глав. Целую вечность от них не было ни слуху ни духу. На мои робкие вылазки они отвечали дружелюбно:

— Читаем!

Через полтора года я спросила:

— И докуда дочитали?

Они оценили мою солдатскую смекалку:

— Мы так не любим все это читать, если б вы знали! Нам без конца звонят и спрашивают: «Ну, вы прочитали?» Мы говорим: «Читаем». Обычно все удовлетворяются этим ответом. А что им остается?

От редакции было рукой подать до Николаямской, мне вдруг захотелось взглянуть на мой старый двор, на дом, на улочки, по которым ходила в школу и обратно, как птицы, которые улетят осенью куда-то, а там тепло, светло, есть чем поживиться, а вот приходит время — и возвращаются обратно. Зачем? Такой громадный путь преодолен, останься здесь, где вечное лето, коротай припеваючи птичий век, расти желторотых птенцов! Нет, устремляются к своим сиротским пенатам.

И я пошла, не стала садиться на трамвай, — по Солянке, мимо Троицкой церкви в Серебряническом переулке, по мосту через Язу. А вот и Николаямская, когда я тут родилась, она именовалась Ульяновская. Во дворе встретил меня чуть осевший, выцветший дом под крышей заката, дом, который прячется в моем голосе и живет внутри ветра, оберегаемый зимами и веснами, голубоватый, с балясинами, увенчанными поредевшими гроздьями винограда.

В детстве мне нравилось стоять на том балкончике с чугунной, завитушками, оградой и наблюдать за дворничихой Таней, крикуньей, она постоянно бормотала себе под нос, а иногда выкрикивала: «Все будет вовремя и очень вкусно...»

Однажды маленький Вовка Золотник не выдержал и крикнул:

— Бабушка Таня, что вы все время так оёте? Если вы больная, то вам надо лечиться!

— Эт-то мы еще посмотрим, — задиристо отвечала Таня, — кому надо лечиться!!!

Сквозь кроны высоченных лип просвечивал роддом, который тоже построил

Абрикосов по завещанию моей прабабушки, это было ее последнее желание. И мы с Вованом по очереди смотрели в бинокль, особенно летом, как мамочки высывались из окон, внизу отцы кричали что-то, махали руками, разные глупости писали мелом на асфальте.

Вспомнились наши с Володькой снеговика с носами-морковками. Как мы катались на санках — дом-то на горе! Березовые сережки, тополиные почки, настурции в клумбах из выброшенных автомобильных шин, зеленая беседка и стол для пинг-понга, кусты сирени и голубятня — там всегда голуби на жердочке — белые — в каких-то веерообразных хвостах.

Мариванна, мать таксиста Гарри, пьянчужка, выходила голубей покормить, картошки вареной наломает, положит в карман передника — и на улицу к голубям. Она говорила, если их не кормить, они ей окно разобьют клювами, будут стучать. И засрут карниз. Они ведь, эти голуби, *бесцеремонные*...

Вспомнила пахучие мешки с воблой во дворе — у нас воблу продавали холщовыми мешками! А неподалеку пивной ларек. Там здоровенные страшные мужики, Вовка говорил, пили «пиво с ёблой».

И эти вечно погрызенные Володькой уголки пионерского галстука...

Он был чужак у нас во дворе, к тому же хлюпик, в футбол не играл, с качелей не прыгал, по крышам не лазил, на турнике ни разу не мог подтянуться. В карты я научила его с грехом пополам, в «дурака» и «пьяницу», так он всем проигрывал напрапую. И в школе с двойки на тройку перебивался — Абрикосыч с ним несколько лет разучивал таблицу умножения!

Соня водила нас с Вовкой на «Аленький цветочек» в театр Пушкина. Я безутешно плакала в середине, в голос рыдала, когда купеческая дочь не успела вернуться к своему чудищу, чуть его не уморила, дуреха, он уже бездыханный лежал на пригорке, где раньше рос цветочек. Она кинулась к нему, обхватила его страшную голову руками... До сих пор стоит в ушах ее истошный крик:

— Ты встань, пробудись, мой сердечный друг, я люблю тебя как жениха желанного!

Мне казалось, что и у меня будет такая же судьба. Что я полюблю такое же чудище, и не факт, что оно потом превратится в кого-нибудь путного, ох, не факт! Но я его еще больше от этого буду любить, еще сильнее, потому что прекрасного принца каждый дурак полюбит, а ты полюби вот такую образину, тогда я на тебя посмотрю.

Илья Матвейч, в свою очередь, водил нас на экскурсию в Музей Востока, где мы стояли с Вовкой, взявшись за руки, перед лицом каменного Будды, пытаясь разгадать секрет его таинственной улыбки.

А когда Вовкина классная Голда Моисеевна вызывала родителей в школу, то всегда ходил дядя защищать племяша от наскоков.

— Я вам на съедение Владимира не отдам! — храбро говорил он.

— У него очень плохие способности по географии! — бросалась в наступление Голда.

— Нет, лучше скажите мне, — парировал Илья Матвейч, — как вы, женщина, человек еврейского происхождения по имени Голда, заслужили прозвище Гитлер?

Снег заносит следы, стирает краски, и теплый домашний мир обретает формы, а туман рассеивается и пропадает в череде картин, пронизывающих нашу память.

Я помню все, связанное с моим детством, даже проходные реплики, услышанные краем уха, навсегда запечатлелись в памяти, хотя их смысл ускользал от меня, к примеру, непостижимый разговор мамы с Бертой, когда той на юбилей подарили телевизор.

Соня спрашивает:

— Ну как — спектакль интересный?

Берта отвечает:

— Сначала он хочет — она не хочет. Потом она хочет — он не хочет. Потом они оба захотели, но уже наступил конец.

В комнате у Берты вязанные крючком салфеточки, вязаная скатерть, вязаное покрывало на железной кровати. Кресло тоже украшено вязаной накидкой. Периодически к ним приезжали дочь Гита и внучка Мирочка. Муж Берты за свою глухоту снискал прозвище Тугоухий Вольф. Общаясь с ним, Берте приходилось форсировать голос.

По коридору гулко разносилось:

— Во-ольф! Слушай сюда! Гита сегодня сделала аборт!

— Что-о???

— «Что-что», ты слышишь или нет? Гита...

Гита, когда узнала, — такой скандал ей закатила. А та отвечала невозмутимо:

— Так все свои же люди!

В их семье женщины славились выдающимся бюстом, который они передавали из поколения в поколение. И только Гита, единственная в роду, кому подфартило с умеренным номером.

— Поскольку она пошла не в маму, а в папу! — шутил Илья Матвеич.

Господи, а веселая модница Ленка из нашего двора, она работала в морге, замораживала покойников. Бабушки на скамейке боготворили ее, совали в карман подтаявшие барбариски:

— Лена — только ты!

Она отвечала:

— Бабулечки, не волнуйтесь, все будете красавицы!

— ...Пысанные! — не преминет добавить Зинуля.

Призраки моих незабвенных соседей вереницей поплыли передо мной: Падкины, Чернлюбкины, Ханины, Закаповы...

Не знаю, обычная ипохондрия, которая доканывала меня до благословенного удара каруселью, — имела ли она отношение к тем годам, когда мой дед сидел на чемоданчике и ждал неотвратимого стука в дверь, или это неясная тоска космического порядка, воспоминание об утраченном блаженстве, о какой-то неопишуемой любви, недостижимой в этом мире?

Многие из них разлетелись кто куда — кто в небо, кто в другие локации, лишь остался незыблемым великий ученый македонский орех посреди двора, тополь, с которого летел пух, забивался во все щели, две одичавшие яблони (папа говорил: «Это яблони, посаженные в тридцать седьмом году!» «Ой, — удивлялась мама, — как это невероятно звучит: *яблони, посаженные в тридцать седьмом году...*») и знакомая водосточная труба с пожарной лестницей. Да еще болотного цвета мусорка, где в свои лучшие времена пировали кошки и вороны.

На сей раз к облезлому, ветхому днями мусорному баку были приставлены какие-то вытянутые прямоугольники. Я подошла поближе, взяла один за уголок, отодвинула и даже наощупь мне стало ясно, что это холсты.

Они показались мне знакомы еле заметными переходами тонов, похоже, без всякого вмешательства художника проступавшие в нужном месте, наподобие редкостного мха или плесени, несущие в себе и живопись, и живописца, и серо-фиолетовое небо над нашим домом. А главное — полностью нереальные бледные фигуры, грезящие и плачущие в полутьме.

Я стала перебирать подрамники, их было не меньше двух десятков. И вдруг узнала картины Золотника, да, это его картины, первая мысль — он что, их выбросил? На обороте виднелась подпись — тоненькой линией прерывистой — еле проглядывало: «Золот...»

Я заглянула внутрь контейнера и обнаружила большой бумажный рулон скатанных

рисунков, обрывки, наброски... А рядом, среди бытового мусора, пластиковых пакетов, наполненных всякой дрянью, лежала потрепанная сумка с выжатыми тюбиками краски, палитра, высохшие кисти и старый плюшевый медведь.

Тут я поняла, что мой художник умер, его больше нет на белом свете, потому что не смог бы Илья Матвейч так вот запросто разлучиться с этим медведем.

Мишка посмотрел на меня своим единственным глазом — с тех пор, как мы с ним не виделись, его лицо очень повзрослело — и все рассказал, как было: умер, умер неделю назад, в больнице, куда его увезли с сердечным приступом. Там быстро в морге простились, потом в крематорий, куда-то поставили урну, куда, не сказали.

Он ждал, понимал — ничего не вернуть, но надеялся, думал, вот-вот откроется дверь и придет Илюша, а нет. Явились какие-то люди, собрали вещи и вынесли из комнаты. Оставили только его и картины. Наутро Володя, племянник, позвал дворника Айпека, велел ему «все это», и показал на картины, рисунки и сумку с красками, вынести на помойку.

— Вот он и вынес, как видишь.

Стало темно, в доме зажигались окна. Завешенные пыльным тюлем, как театральным занавесом, окна моей квартиры были слепы. Судя по старым оконным рамам, ее все еще держали за коммуналку, но кто там живет и живет ли кто-нибудь?

Вдруг одно окно загорелось. Свет зажгли в нашей «гостиной», той, что мы делили с графиней Толстой. Мне было девять лет, когда хоронили Екатерину Васильевну. Прибыло толстовское племя, дамы в шляпах с вуалями. Тогда мы с Вовкой впервые увидели живого попа. Он ходил с паникадиллом, махал, дымил...

А через окно в крошечной каморке гнездовала Наночка с какой-то птичьей фамилией. Синичкина? Снегирёва? Очень маленького роста, шустренькая. Она дала нам овсяного печенья и усадила пить чай, чтобы немного развлечь.

...Редкие тени прохожих выплывали из-за угла, освещенного желтым фонарем. От деревьев тянуло прохладой, бесшумно вспрыгнула на контейнер кошка. В пальтишке, в сапогах, со скрипкой вышел из подъезда незнакомый парень и медленно побрел, пиная рыжие листья клена.

Ясно, что все эфемерно и мимолетно, даже великие озарения — всего лишь сны и давно бы растаяли без следа — «Мона Лиза» опять же или «Весна» Боттичелли, «Купание красного коня», на худой конец, «Чёрный квадрат», если бы не излучали какое-то сияющее присутствие, неподвластное тленью.

Но и приснопамятная «Сосна» Осмёркина, и эти брошенные на помойке холсты Золотника, перепачканные голубиным пометом, политые дождем, где ночь и день одного цвета, а мир пребывает без различий, словно рисунок на доске Бытия, как ни крути, излучают это сияние.

Где Митино мировое древо, исправно соединявшее земную и небесную твердь? При солнечном свете сосна у него была цвета золотистой охры, в тени — вишневая, зимой — ветки в белом снегу, а ствол темный до черноты. Зато осенью, когда прохлада усиливает зелень, резче очерчивает иглы, она стояла в пейзаже, будто обведенная тушью. Митя говорил, это сосна его детства в Перхушково, когда он был счастлив и родители были живы.

И так он пытался, и эдак подманить покупателя, приглашал друзей и случайных знакомых. Сосну за сосной достает, ставит у окна, подсвечивает, чтобы усилить колорит, а те глядят и не понимают: на что она им, эта одинокая сосна, о чем будет шелестеть ветвями в изголовье, какие всколыхнет мысли, заронит искру, навеет сны?

Жена Мите плешь проела: смени да смени проблематику!

— Как я могу? — он ей отвечал, белильщиками подмалевывая облака, гонимые ветром над густой зеленью сосны.

— А ты взгляни на свои дырявые штаны, — ворчала жена, — носки заштопанные, — и пойдет как по маслу!

— Задница у меня протирается, потому что много сижу, — смиренно объяснял Митя. — А пятки у меня протираются, потому что много хожу.

Но та не успокаивалась, решила прощупать почву в Измайловском парке, потопталась среди художников и углядела, что одна баба десятками продает картины с полевыми ромашками. И до того они бойко разлетались, что никаких сомнений: долой сосну, даешь ромашки!

После череды бессонных ночей Митя капитулировал. В целях экономии замазал свою сосну и поверх набросал — что б они провалились! — ромашки в граненом стакане. Жена выставила букет на продажу, а та баба, почуяв конкуренцию, подняла тарарам:

— Ты с ромашками сюда не лезь, ромашки все мои, мотай отсюда или рисуй другие цветы, у меня на ромашки монополия.

Митя взялся изображать васильки да незабудки, жена снова ропщет:

— Запечатлевай, — говорит, — георгины с гладиолусами, на полевою шелуху потребитель не клюнет.

Митя нарисовал гладиолус, потом еще один, вставил в рамку. Лед тронулся, сосна померкла и потерялась меж полотен с пышными георгинами. А душа-то не на месте, тоскует Митина живая душа. Возьмет бутылку портвейна, придет к Золотнику.

— Яичницу разбить? — спросит Илья Матвеич.

Славная у него получалась яичница-болтунья! Посыпанная солью, перцем, она лоснилась горкой в сковородке, он то снимет ее с огня, то поставит, бросит помидорчик, петрушку... И с пылу с жару несет Мите.

А тот уж пригубил, сидит, горюет о своей погубленной жизни, подперев кулаком щеку.

— Упорный ты, Илюша, гнешь свою линию, а я сосну предал, гандон штопанный, променял на георгины с гладиолусами. Но ведь продаются они, понемногу, а продаются, значит, нужно мое искусство народу, так ведь? Хотя гложет вот здесь, — и Осмёркин стучал себя где-то в области желудка, — не то это, не мое!

— Твое, Митя, это — сосна в лучах закатного солнца, — отвечал Илья Золотник, — но ты оставил ее, ибо не было у тебя коммерческого успеха, и ты изменил направление. Но я тебе не судия, кто я такой, чтобы тебя сосной попрекать, мне семью не кормить, я сам по себе, мне много не надо. Я свои картины для себя пишу, ищу собственную гармонию, не купят — и ладно. А для денег — товарный знак рисую: заказ пивоваренного завода, обещали двести рублей!

— Баста! — ударит Осмёркин кулаком по столу. — Плевать на коммерцию, уеду в Перхушково, буду рисовать сирень, ведь сирень — она и цветы, и дерево в то же самое время, а рядышком с сиренью — сосна. Может, выйдет у меня соединить эти две темы?

Но Илье Матвеичу нравилась именно та Митина сосна, одинокая, прямая, на фоне коричневой зелени, окутанная золотистым свечением уходящего солнца, грубоватая, неброская, но такая душевная. Обнимет Осмёркина и молчит, размышляя, как же быть, чем утешить друга? Да так и не придумает. А только скажет:

— Ты как соберешься, позови меня, может, и я с тобой поеду, там хорошо, наверное, я давно не был нигде, сижу тут в четырех стенах как узник. Один бы я теперь не решился в Перхушково поехать.

Напоследок Митя оглядит «сокровища» Золотника, всю эту смесь гремучую тревоги и надежды:

— Знаешь, что меня страшит, Илюша? Вот умру — и мои сосны выкинут в мусорный бак. Моя жена и выбросит, что не продаст!

— Никто не знает, Митенька, что нам уготовано, — отвечал Илья Матвеич. — Вот Калмыков — умер в нищете. Его творения вынесли во двор. Казалось бы — ничего

ценного: измалеванные с двух сторон холсты и пожелтевшие бумаги, исписанные непонятными знаками. А его картины и картоны подобрал музей, рукописи приняли в архив, даже ветошь и рухлядь спасли от костра! Народ о нем слагает песни, а самого его официально причислили к лику святых. Вот как бывает, друг мой. И не нам об этом судить.

— А может быть, взять все и сжечь? — твердил свое Митя.

— Ну что ты заладил, — скажет Золотник. — Это жизнь наша. Как я могу собственную жизнь сжечь?

И ни друзей у него, ни родных, кто станет беречь этот невечерний свет, который ложился слой за слоем на чистый холст.

Семьей он не обзавелся («Чтобы не зачать детей с дурными наклонностями!»). Было время, его навещала гостья — он познакомился с ней в доме отдыха за Вышним Волочком. Они тогда с Митей работали оформителями на художественном комбинате, путевки от профсоюза стоили дешево, за десять рублей можно было съездить.

Только сели в автобус, вошли две женщины, и сходу поделили их с Митей: этот — мой, этот — твой. Ну, познакомились, начали встречаться, ночные прогулки на лодке по реке Мсте, — раньше в дом отдыха ездили, чтобы с кем-то сблизиться, рассуждал Илья Матвейч, а когда познакомишься с человеком поближе, всегда хочется нарисовать его погрудный портрет или целиком, тем более что им дали с Митей отдельный домик.

Тогда Золотник еще искал свой стиль, и образы на холсте имели хотя бы какое-то сходство с оригиналом. Раз уж его выбрала Галя из Твери, он велел ей застыть у окна на восходе солнца часов в пять утра и взялся за кисть.

Увы, она не годилась в натурщицы: одна-две минуты — предел, ее захлестывал темперамент. Увидев, как это огорчает Илюшу, она сделала невероятное усилие и продержалась в оцепенении полчаса. Это был подвиг любви — у нее онемели руки-ноги, заболела спина, заурчало в животе, она опустилась на стул и уснула от изнеможения.

К тому же она была слишком резко очерчена: шея, ключицы, грудь, мускулистые бедра. Такой рельефной натуре лучше позировать скульпторам. Поэтому Митя по-дружески предложил Илье сменить Галю на Лену, они ее звали Элен, куда более обтекаемую и меланхоличную — час, два будет сидеть неподвижно и смотреть в одну точку. А Галя — крепкая и порывистая, как сосна в Перхушково, она Мите больше нравилась.

С тех пор Элен чуть не каждый день позировала для Ильи Матвейча, что-то он углядел в ней, создав галерею портретов, не считая рисунков, набросков и эскизов, где он изображал себя голым с пастушеским посохом в руке, своей плотностью и приземистостью напоминая пухлого сатира, а легкую воздушную Элен с развевающимися волосами — немного растерянной рядом с этим яржником.

Именно в Вышнем Волочке он стал все дальше уходить от реализма и обращаться к абстрактным формам живописи, но все-таки пока угадывалось ее лицо, сияющее нагое тело, а главное, безупречно чистая душа, особенно это видно было в работе «Элен падает в пропасть», которая долго висела у него в комнате между книжными шкафами.

Жизнь в абрикосовке замирала, когда загадочная незнакомка звонила в парадную дверь (*И.М.Золотник — 5 звонков*). Он суетливо бежал открывать, и она врывалась в своем шелестящем просторном плаще с капюшоном — папочка звал ее «мадам Бонасье» — или в шелковом платье с незабудками, шляпа, сумочка, перчатки, это производило на обитателей нашей квартиры неизгладимое впечатление.

На расспросы Илья Матвейч, обычно такой открытый, дружелюбный, коротко отвечал:

— Это моя натурщица, я ее рисую.

Стоило двери в комнату за Илюшей и его музой закрыться, только ленивый не вылезал на свет божий из своей норы, чтоб ощутить в коридоре шлейф ее присутствия, вдохнуть аромат «Ландыша серебристого», а таксист Гарри порой до того докатывался, что в отсутствие супруги-милиционерши прикинул к замочной скважине. Это не одобрялось общественностью, но встречалось с пониманием.

— Ну, что там? — спрашивала его Зинуля, как бы походя.

— Раздевается, — шепотом отвечал наблюдатель.

— А??? — Зинуля была глуховата.

— Тс! — Гарри прикладывал к губам палец. — Усаживается на стул.

— Голая??? — интересовалась Надюля.

— В чем ее мать родила!

— А Илюша???

— Выдавливает на палитру краску.

— Одетый?

— Как есть, одетый.

— Кремень, а не мужик!

— Гарька, а теперь? — трясла его за плечо мамаша.

— Рисует, мам...

— А она?

— ...Не пошелохнется.

— Чудеса в решете! — удивлялись старухи.

А надо сказать, Илья Матвейч имел обыкновение поставить чайник и тотчас же о нем позабыть.

— Илья Матвейч, вы хотите, чтоб мы угорели к чертям собачьим? — кричала ему Берта с кухни.

— И-иду, — отзывался Золотник и в заляпанном краской фартуке шествовал неторопливо по коридору с таким достоинством, будто этот человек был самим Творцом Вселенной.

— Мамочка моя, царствие небесное, чтобы ей на том свете достались одни только сушки маковые в меду, — оправдывался он перед соседями, — всегда меня называла идиотом. Но так любовно, даже изумленно, сделаешь что-нибудь, она — восхищенно: «Идиот»!..»

Так вот лукавые старушки, которым очень уж хотелось глянуть, что там такое у Ильи творится, придумали поставить на огонь Илюшин обгорелый чайник и закричать, как бы издалека:

— Илю-уша-а-а! Ча-айни-и-ик!

Он выскочит и побежит, оставив дверь распахнутой, и тут они увидят...

И тут они увидели, вернее, мы, хотя я — вряд ли, но вышло так, никто не понял, почему, а тридцать человек соседей столпились у его двери, замороженные великим таинством искусства.

Глазам открылась вот какая картина — накинув шарф прозрачный цвета южной ночи, сидит на стуле обнаженная Элен, глядя сквозь них в какие-то такие дали, куда, как говорил потом беспутный Гарри, Макар телят не гонял.

А Илья свет Матвейч уж возвращался с чайником, в другой руке — банка варенья, на шее — связка сушек.

— Элен, Элен, — он окликал ее, как лебедь Леду, — вот, чёрт, поставил чайник на плиту и напрочь позабыл. Что бы я делал без моих соседей!!!

Как же Илюша горевал, рассказывал мне Абрикосов, когда заснеженным январским днем она пришла к нему:

— Я вышла замуж, — говорит, — больше позировать не буду.

— Но мы же не закончили картину...

— Всё-всё, — произнесла Элен, такая румяная, в кроличьей шубке, штампованной под леопарда. — А то меня муж прибьет.

«Кончились краски...» называлась эта картина. Она в самом деле была незаконченной: что-то детально прописано, а что-то неясно, туманно, верхний правый угол вообще не затронут.

Илья напился! Три дня и ночи лежал лицом к стене. Митя звонил на комбинат, хотел заказать натурщицу, на комбинате их две тетки...

Илья Матвеевич хохотал, как Мефистофиль в исполнении Шаляпина, когда об этом услышал.

— Да ты с ума сошел, — стонал он, утирая слезы, — кожа Элен так чувствительна и светонесна, она играет красками... Я буду рисовать ее с закрытыми глазами...

Вот он и рисовал ее всю свою жизнь, по памяти, силуэт постепенно таял, растворялся в его полотнах, пока через несколько лет не слился с пейзажем, стал мерцанием, а потом и вовсе пропал за красочным слоем.

Люди поворачиваются, открывают невидимую дверь и уходят, а мы стоим и смотрим им вслед, не понимая, как это возможно? Мы так ярко и отчетливо их помним, а вокруг столько живых свидетельств пребывания этого человека на земле!

Что делать с картинами? Забрать? Картин-то много! А если оставить — утром приедет мусорка и вывезет на свалку в Одинцово, свалят и утрубуют.

Флавию звонить бесполезно, он как-то отрешился. Раньше говорил: «Я буду любить тебя до твоего последнего вдоха!» А сейчас — как ни позвонишь, отвечает рассеянно: «Завтра и послезавтра, и послепослезавтра у меня танцы, а дальше посмотрим...»

Да еще с некоторых пор его всецело поглощали вопросы оздоровления.

Он и прежде был ипохондриком, тщательно изучал ранние симптомы разных эсхатологических недугов, стоило ему заподозрить у собеседника что-нибудь не то, он разглядывал тебя чуть ли не в лупу: не вскочило ли где чего, не зашелушилось ли?

Как-то он и сам явился ко мне на свидание с обметанными губами.

Бабье лето стоит золотое, в воздухе летают паутинки, дует теплый ветерок, парк полон шорохов и шелеста. В самом что ни на есть благодушном настроении Флавий меня обнял и собрался поцеловать (ибо как говорил Авиценна, поцелуй ускоряет сердцебиение, стимулирует кровообращение, укрепляет иммунитет...).

Тут я и спрашиваю:

— Это что у тебя на губах — простуда?

Он как закричит:

— У меня никогда не бывает простуды!

И вдруг подозрительно:

— А у тебя что, бывает?

Я твердо:

— У меня не бывает.

— Это я ананас ел!!! — вознегодовал Флавий. — Ананас купил на рынке... зеленый!

Ты когда-нибудь ела ананас? Ананас в кожуре??? Небось только вылавливала в компоте!!! А ты поешь его в кожуре! Он, знаешь, как губы разъедает!!! Мне их так щипало!!! А тут еще ты со своими гнусными подозрениями! Ну и ладно! — кричал он на весь Ботанический сад Российской Академии Наук. — Не хочешь целоваться — не надо!

И зашагала прочь не разбирая дороги. Я догнала его, ухватила за рукав, но он оттолкнул меня в страшной ярости:

— Главное, кому ты это посмела заявить? Человеку, который столь тщательно

следит за своим здоровьем, что гигиена давно стала для него превыше всего! Да я за здоровье жизнь готов отдать! Тебе и не снилась такая гигиена, какую я развожу! Запомни: умирать буду, а тебя больше не поцелую, на коленях будешь молить, в ногах валяться, песок целовать, по которому я ходил...

В то время Флавий еще балансировал между сплином и страстью, а тут уже явный обозначился перекокс. Только в страшном сне Флавию могло привидеться, что мы с ним дружно плечом к плечу копаемся в мусорном баке. И где? В самом центре Москвы!

Надо звать Фёдора, он как раз вынырнул со дна провальной воронки массива Ай-Петри и пока не углубился в сарматские известняки Прикаспия у озера Баскунчак.

Я набрала его номер:

— Слушай, Федя, тут такое дело... надо приехать — забрать кое-какие вещи, откуда-откуда... из помойки! Не просто вещи, это картины художника Ильи Матвейча, моего соседа, я тебе про него рассказывала. Пойми, это очень важно, его картины выбросили, а сам он умер... да нет, он сначала умер, а потом выбросили! Да не его, а картины! Мы должны их спасти!

— О боги! — стонал Фёдор. — Муж из пещеры вылез на божий свет, не мылся, не брился, хотел выпить пива, возвыситься духом. Нет отдыха измученной душе, только в подземных казематах — только ширк-ширк, летучие мыши нарушают блаженную тишину. И что там над нами долбают без остановки, колесный пароход!

— Наверно, они хотят сделать ванну вместе...

— ...с нашей? — подхватил Федя.

Но через полчаса был уже во дворе, примчался на грузовой «газели», косматый, бородатый, с насохшей глиной на комбинезоне, в громадных туристических ботинках сорок пятого размера, в каске с налобным фонарем. Ярким лучом электрического света Федя прорезал тьму и высветил меня с плюшевым медведем.

Он поднял с земли картину и принялся мрачно рассматривать.

— Ну не знаю. Ты уверена?

Мы стали собирать живописные полотна по три-по две — в стопки, носить в машину.

Водитель, увидев, что явные барахольщики ташат какой-то хлам, поглядывал беспокойно, не замарают ли этим хурды-мурды его грузовой отсек. Напоследок я закинула рулон и сумку, рядом уселась в кабину, мишку на колени, и машина тронулась.

Зайти взглянуть на картины Флавий был еще в состоянии. Хотя последнее время о людях искусства отзывался неодобрительно. Иногда мы ходили вместе в кино. Обычно его хватало минут на десять, после чего он вскакивал и покидал зрительный зал.

— Это такая плохая актриса, — говорил Флавий про героиню, — ее надо было снимать скрытой камерой в трех позициях: на унитазах — когда у нее запор, там же, когда у нее понос, и третья — когда туалет занят, а у нее болит живот. Была бы такая радость!

О фильме, где нам удалось засветиться — меня, правда, не показали, а Флавий разок промелькнул в похоронной процессии, — он отозвался так:

— Им бы еще хорошего сценариста. Хорошего режиссера. И хороших актеров.

Я любила театр, выставочные залы, концерты, чего Флавий на дух не переносил.

— Не любите ли вы театр, как не люблю его я? — спрашивал он задумчиво, ни к кому не обращаясь.

Писателей он называл заполнителями пространства и признавал только сочинителей крылатых афоризмов. Однажды на пике вдохновения я произвела на свет афоризм: *Она была готова дать каждому, так она любила людей!*

— Некоторые горе-писатели думают, что сочинить афоризм легко, — сказал на это Флавий. — Все равно что повестушку или романчик накатать. Им невдомек, что в Настоящем Афоризме не должно быть ни одного лишнего слова и даже звука! Она была готова дать каждому — так она любила людей! Почувствуйте, как говорится, разницу! — закончил он торжествующе.

Флавий вытащил из штабеля один холст, перенес поближе к окну. Краски, мутные в полумраке, вспыхнули, заярчились, и с полотна хлынула масса света, в которой угадывались размытые женские очертания, странные животные, пальмы, молнии, дождь, край окна и какие-то далекие лица, полузабытые, живущие в моем сердце. Они задавали неуловимый ритм, идеально вписываясь в пространство, текучее и бездонное, как наваждение.

— Ну, напустил туману, — сказал Флавий. — Надо матери показать, возможно, здесь мутной дымкой подернуты сюжеты Страшного суда. Пусть глянет, специалистка.

Тут же, не сходя с места, решили устроить квартирник — выставку художника Золотника у нас дома. Неделю забивали гвозди в стенки, развешивали картины, расставляли на диван, телевизор, на кровать, даже над унитазом повесили. Фёдор написал гуашью и кисточкой плакат: «Илья Золотник. Живопись».

Подумал и спросил:

— Может, написать: «Андерграунд»?

— Нет, — сказала я. — Надо: «Спасённый андерграунд».

Флавий предложил: «Спасённый из помойки...»

— Лучше «Спасённые шедевры...»

— Не будем опережать события! — сказал Фёдор. — Затем мы и зовем публику, чтобы дорыться-докопаться, шедевры это или «горный хрусталь»?

Оставили только имя автора и слово «живопись», в чем мы не сомневались.

Открытие нацелили на шесть вечера, в пятницу.

— Флавий пускай собирает народ, — предложил Федька. — Он такой живчик!

Сетую на судьбу, Флавий поплелся на фабрику «Красный Октябрь» — там открылась выставка художников-авангардистов. У него был друг, абстракционист Ваня Колышкин, которого Флавий чтит за бестелесность творений. С помощью кисти и туши Колышкин испещрял мир вокруг себя какими-то знаками, вроде китайских иероглифов. Ничто не повторялось, заранее не готовилось, хрупкие Ванины видения всплывали из глубин его подсознания и вихрем нисходили буквально на все что ни попадя, чтобы исчезнуть в тот же миг. Ибо холстами служили ему плывущие в небе облака, озерная гладь, прибрежный песок и снежные поля Подмосковья.

Свои вензеля Колышкин выписывал и на конкретном теле Флавия, для которого расхаживать перед почтеннейшей публикой с открытым забралом было так же органично, как для папуасов Новой Гвинеи.

Нобелевской премией Флавий, будь его воля, награждал бы писателей, которые никогда ничего не написали, и превозносил до небес гобоиста, исполнявшего «Бранденбургские концерты» Баха для дуба, которому исполнилось сто лет.

— Есть такое выражение: зарыть талант в землю. Это самое правильное, — заявлял Флавий. — Не можешь не творить — твори, позабыв о рейтинге и коммерции! Цветок просто цветет, а заметят его или нет, ему по барабану.

Он вывесил при входе на выставку плакат, но когда зашел в галерею и начал раздавать приглашения, в углу стало надуваться нечто вроде огромной красной сардельки с ложноножками, оно вздувалось и выросло из-за угла, стремясь заполнить все пространство, а посетителя, возбудившего спрятанный в «Красном Большом» фотоэлемент, решительно вытолкать наружу.

Больше Флавий не стал трубить о нашем квартирнике, боялся надолго уходить из дома: столько лет он ждал чуда — вдруг позвонят с какой-нибудь киностудии и он

услышит в трубке: «Яп-понский городской! Мы потрясены вашим сценарием! Договор — на любых условиях!»

Правда, с недавнего времени у него появился мобильный телефон, но ведь не каждый об этом знает. А пока он будет болтаться по выставкам и втюхивать флаеры, раздастся звонок на домашний, мама подойдет или бабушка:

— А? Что? Из Голливуда? На двадцать миллионов??? А Флавика нету дома...

Впрочем, если б он вообще не произвел никаких телодвижений, а только осчастливил нашу стихийную выставку явлением своей драгоценной мамочки, я и тогда благодарила бы небеса за то, что встретила на своем пути этого самобытного человека.

Без десяти явились Флавий и Агнесса. Флавий, как обычно — в свитере под байковой малиновой ковбойкой, вытянутых на коленках брюках, в неизменных белых носках с красными пятками.

Зато сиятельная дочь короля Эдессы — первого оплота крестоносцев за голубым Евфратом, увы, завоеванного эмиром Алеппо Занги, — мечтавшего прибрать к рукам Дамаск, а там и всю Большую Месопотамию в зоне Плодородного полумесяца, Агнес де Куртенэ оделась явно на вечерний выход. Томная и женственная, в сапфической хламиде из черно-красного плюша, от которого чуть веяло заветным сундуком бабушки Иоветы, с ярко-синим индийским шарфом на шее, — Федька просто охренел, когда ее увидел.

Презрев застолье, она пустилась обозревать картины — в лорнет.

— Любопытно, — услышала я ее величаво-певучий голос. — Что-то в этом есть... Какая-то лучезарная сила, которая лепит мир на свой лад. Поэзия на холсте, авангард, напоминает Вейсберга по живописной манере. Это же один московский круг! Белое на белом... Только у того были банки, шары и белые кубы... А тут, часом, не раввин Симеон, по слову которого содрогалась земля и слетались ангелы?

— Вот мы и просим дать нам консультацию, — сказал Фёдор. — Но только точно, ясно, авторитетно — нетленка это или безнадежная мазня?

В дверь позвонили. На пороге стояли два человека в почтенных летах. Слегка полинялый субъект с можжевелевой тростью галантно представился:

— Мечислав Иванович Бредихин.

— Если Мечик явился на вернисаж, — ожидайте отличных продаж! — возвестил его спутник с белой круглой бородой, в двух рубашках — снизу желтая, сверху синяя в черный рубчик: Георгий Самоквасов.

— Надеюсь, мы не опоздали? — поинтересовался вальяжный Мечислав Иванович, наметанным глазом просекая уголок с фуршетом.

Чинной походкой, не отвлекаясь и не сворачивая, они направили стопы к праздничному столу. На локоток Самоквасов набросил пиджак, безрукавку, под мышкой зажал твидовую кепку, но это не помешало ему наполнить «бокалы» себе и мэтру.

— Нам, привыкшим на оргиях диких, ночных пачкать розы и лилии красным вином, никогда не забыть в мечтах голубых сном любви, этим вечным, чарующим сном... — продекламировал Мечислав перед тем, как пригубить вино.

— За искусство! — подхватил Самоквасов.

— За наше вечное, безграничное, высокое и святое русское искусство! — добавил его велеречивый друг.

Они осушили чарки и тут же наполнили вновь.

— За мастеров кисти! — провозглашал один. — За наших прославленных и непризнанных, маститых и только-только вступающих на сей тернистый путь...

— Да не оскудеет земля русская талантами! — отзывался второй, опрокидывая стаканчик за стаканчиком.

Ясно было, что оба они пользуются в Союзе художников большим влиянием.

Мое застолье показалось им не вполне обильным.

— Любезная моя! У вас в доме есть колбаса? — поинтересовался Бредихин. — А то я с утра не емши, пришлось присутствовать на заседании в Академии художеств, забегался, не успел пообедать.

Пашка сгонял на кухню, притащил старику бутерброд с колбасой,

— Мальчик, слушай, а можно еще один сэндвич для моего закадычного друга? — попросил Бредихин. — Георгий Самоквасов баллотируется в президенты Академии художеств, ему надлежит усиленное питание.

— Ладно, — сказал Пашка и сварганил еще один — для будущего президента.

Все были при деле. Фёдор, как заправский хозяин салона, сопровождал Агнессу, брал картины переносил их поближе к лампе, подставляя пустую раму, выданную нам отцом Абрикосовым, видимо, когда-то в этой раме было заключено единственное произведение искусства в нашей семье. Впрочем, была ли в ней картина, никто не помнил.

Возможно, она полвека ждала этой минуты, чтобы обрамить работы Золотника, хотя не очень-то подходила по форме и по размеру, но все равно придавала какую-то значимость живописцу, которому явно было до лампочки, станут вешать на стенку его картины или не станут, главное — обрисовать эту силу беспредельности, встроить в окружающий космос прямоугольник личного космоса, потеснив реальность, набросить заплату на ветхую и самопальную ткань вселенской материи, залатать — куском своего добротного полотна — и довольно. А рама — это тлен и суета.

— ...Как преобразается в раме картина! — изумлялся бывший Степа Жульдилов, а ныне абстракционист Блябляс. Его дедушка, грек, носил эту благородную фамилию, внук ее себе присвоил. Решил вырваться из нашего рабства хаоса, гнета и печали в царство грез и галлюцинаций — на Пелопоннес, поближе к святилищу Зевса в Олимпии, жениться на гречанке и начать жизнь сначала, получая питание прямо из мирового пространства.

— И прежняя фамилия была благозвучной, — сказала я, — и нынешняя ласкает слух!

— Так что шило на мыло, — простодушно заметил Фёдор.

Пашка без устали курсировал между холодильником и плотоядными академиками, я то и дело бежала на звонок — встречала гостей. В полном составе явились участники выставки «Большой и Красный», а также наивный художник Орлов, чтобы выучиться на примитивиста, он окончил Строгановку.

Буквально из воздуха материализовался изысканный Жан-Луи, уроженец Парижа, его голову украшала засаленная бандитская шляпа с высокой тульей и фазаньим пером.

Пара безумцев — Клава Ёнчик с искусственным членом в кармане и Гога Молодяков, неформал с дурной репутацией — две косички на бритом темени, в старушечьей вязаной кофте — несли какую-то заумь: «объективация духа», «бинарность», «герменевтика», «органон»...

Явился — не запылится Бренер, автор поэмы «Хламидиоз», известный скандальными выходками: то он уселся какать под Рафаэлем, то извозил краской «Белый квадрат» Малевича, отмотал срок в Голландии и озаменовал свой выход на свободу, заглянув к нам на огонек.

Виноградов пришел беременный. Следом — импозантные представители армянской диаспоры в пиджаках и галстуках, фотограф Никлас Мраз, по-нашему, Коля Мороз, рыжий австриец, он снимал кремлёвский кубок по теннису, черноглазый

Сикейрос — подбритые виски, взбитый чуб — с барабаном пау-вау, он заранее в него начал колотить на лестничной клетке, призывая род людской прорываться сквозь скорлупу обыденности, после чего примостился на кухне у батареи и деловито забил косячок.

— Абстракция требует границ, — философствовал Жульдигов. — Казалось, все разлетается, растворяется в воздухе, зато в раме — оно обретает завершенность и гармонию, в раме — это уже не плоскость, но — тоннель в другую реальность. За рамой — банальность, внутри — гениальность, верно, Агнесса Львовна?

По углам разносилась беседа академиков, причем с каждым стаканом их пленум становился громогласней.

— Пока могу сказать определенно, это живопись масляными красками на... — вещала несравненная Агнес, переворачивая картину и внимательно осматривая изнанку, — на холсте, холст «репинский», отличается грубой тканой структурой, что дало художнику сосредоточиться на фактуре, а не на изображении. Красочный слой не тонок, а даже, я бы сказала, увесист. Художник применяет технику многократной лессировки, чем добивается... добивался удивительной светоносности. По-своему, интересный, но достоин ли он Третьяковской галереи, это вопрос, пожалуй — нет, у нас же музей, там только избранные. Хотя художник нескучный, это важно в наше время, когда все заиклены на этом, как его... концептуализме, господи прости.

— В салон с ним тоже нечего соваться. Нонконформист этот Золотник, неформал, как и я, — утаптывал стежки Орлов. — Агнесса Львовна, вы должны увидеть мой новый цикл — «Танец холодного огня с переворотом на четыреста пятьдесят градусов», буду его показывать на днях в галерее на Полянке. Я передам приглашение.

— А что вообще нарисовано на этих невнятных белесых картинах? — спросил Самоквасов, как только они с Мечиславом выцедили последние капли из винных пакетов. — Пейзажи? Натюрморты? Форма чего? Чего форма? Кто он такой, этот Золотник? Он вообще учился? У кого-то уроки брал?

— Он говорил про какого-то художника из Алма-Аты, — сказала я. — Кажется, Колмаков...

— Может, Калмыков?! Сергей Иванович? — воскликнула Шимановская. — Да это же последний авангардист Серебряного века, в Третьяковке есть его работы. Значит, Золотник учился у Калмыкова? Тут вырисовывается интересная история, даже преемственность!

— Учитель — нищий сумасброд, закончил дни в психбольнице, — не унимался Самоквасов. — И ученик покотился по той же дорожке!

— Они видели иные миры, а это не каждому дано, — заметила Агнес и опорожнила стакан «саперави», который я заначила для нее на подоконнике за шторой.

— Жлобы! Это сама первоматерия творения! — вознегодовал Орлов. — Дух вещей, которые нас окружают, их нематериальные формулы, а не формы! Автор срывает шелуху с реальности! А на отважных первопроходцев, вроде меня и Золотника, из академических подворотен всегда слышится лай академических шавок!

— Я вашу молодежь уничтожу! — рвался в бой Самоквасов. — Растопчу и разнесу! Я напишу разгромную статью в газете «Южные горизонты», что вы все педики и лесбиянцы, а это ваше так называемое искусство — фуфло!

— ...И мертвые восстанут нетленными, а остальные преобразятся, как сказано в Первом Послании Коринфянам... — чему-то своему радовалась Шимановская, немного даже приплясывая.

Ей богу, она мне нравилась все больше и больше.

Мечик отвечал на эскапады собутыльника легкой ироничной улыбкой.

— Друзья, не будем ссориться! Маэстро так говорит, чтобы не было зазнайства и панибратства, проще сказать, фанаберии и амикошества, как принято выражаться

в нашей среде академиков. А сам Георгий Самоквасов — поклонник пре-ра-фа-э-ли-тов, — не без труда произнес он, подыскивая термин позаковыристее. — Неудивительно, что бессюжетная картина не трогает его душу.

— С чего ты взял, что я люблю прерафаэлитов? — воскликнул Георгий с таким видом, с каким Победоносец укокошивал гремучего Змия. — И теперь этими прерафаэлитами мне в морду тычешь! Я предпочитаю классическую живопись, и моя позиция как критика такова, что нужно оставаться на прежних позициях! Я при своей жизни пронаблюдал развитие искусства с 1805 года и понял, что Венецианов намного сильнее производил впечатление, чем все вместе взятые импрессионисты!

Внезапно Бренер схватил мою махровую герань и с криком: «жирная свинья, прохиндей, подонок, ублюдок!» принялся хлестать ею Самоквасова по мордасам, но тот отмахнулся от него, как от назойливой мухи, выбив из рук горшок.

— Перформанс не удался, — вздохнул Гога Молодяков. — Нет должной рефлексии, беспорядочная импровизация.

— Врррубитеесь! — ликовал Ёнчик, сморщенный как гриб, сухой, как шелуха от семечки. — Этот тип еще с импрессионистами боролся!

— Вы русский человек, у вас русское лицо! — исхлестанный Победоносец обнял Ёнчика за плечо. — А все импрессионисты — евреи!

— Мне очень жаль, — ответил Ёнчик, — я чистокровный одессит и в некотором роде тоже... импрессионист.

— ...Как вы меня огорчили! — сказал сокрушитель Змия. — Пойдемте, Мечислав, нам здесь делать нечего.

— Надо закрывать лавочку, — сказал Фёдор. — А то я за себя не ручаюсь.

Народ намек понял и потянулся к выходу.

И тут гнетущую атмосферу развеял неожиданный гость. В стеганой телогрейке и шапке изнутри пожаловал еще один чудодей — Бубенцов, излучавший тонкие ароматы роз и экзотических смол, которые просачивались даже сквозь дым и чад нашего квартирника.

Гриша значился арт-дилером, хотя окончил архитектурный, а по призванию был поэт.

— Посмотришь на небо — там звезды одне. Мне солнце на небе напомнят оне... — так он приветствовал не готовых к тяготам этого мира, хорошо ему известных по вернисажам Москвы, хрупких созданий, с грустью покидавших учиненный ими бардак.

— Кстати, в подъезде я встретил Бредихина и его приятеля, — сказал Бубенцов. — Ишь, проныры! Я знаю их как облупленных, они совсем не те, за кого себя выдают. Представляются академиками, едят и выпивают за счет заведения, мимо этих самозванцев не просвистит ни один фуршет! Что, все съели?! В другой раз гоните их взащей!

— В другой раз??? — переспросил Фёдор.

Под ногами у нас лежала земля с черепками, герань расколошматили, в горшке с амариллисом — окурки, скатерть белая залита вином, стульчак обоссан, из кухни несет коноплей... И среди этого бедлама Ваня Колышкин с небесным взором, китайской тушницей и кисточкой в руке знай покрывал таинственными иероглифами нашу мебель, окна, двери и обои, крышку холодильника, унитаза, эмалированную ванну...

— Не-ет, — сказал Фёдор, — в первый и последний раз я устраиваю квартирник, это просто чума, и ради чего? Ради какого такого искусства???

— Ну-ну, не будем судить слишком строго, — сказал Бубенцов. Под телогрейкой у него оказался элегантный серый костюм — двубортный пиджак и розовый галстук в полоску, отутюженные брюки были заправлены в черные яловые офицерские

сапоги. — В этой компании есть своя перчинка, аттическая соль, если хотите, фокус-покус... И одновременно — засада. Они дают деньги шарманщику, когда за бакалею и за плоды хлебного дерева не плачено уже много месяцев. Но для того мы и пришли в этот мир, чтобы удивляться и удивлять! — и он указал на Сикейроса, который, пока еще на своих двоих, в состоянии наркотической полукомы нарисовался на пороге кухни.

— Как маленького крокодильчика пускают в ванну, сю-сю с ним, а потом не знают, куда девать, так и Сикейрос — курит марихуану, в Юго-восточной Азии болтается постоянно, его кто-то спросит: «Тебя зовут Сикейрос?» — он с ним останется на пару лет. Недавно выучился тибетской медицине и стал практиковать как тибетский... хотел сказать «терьер». Он вам уже дул в диджериду? — спросил Гриша. — Возвещал о конце мира? Только бил в барабан? Тогда трубный глас еще впереди!

— А регулярно дудеть — не вредно? — поинтересовался Блябляс уже из прихожей. — У меня знакомый трубач страдает варикозом. Ему это, правда, помогает знакомиться с девушками на пляже: «Видите, у меня вены вздутые на ногах — вот, вот и вот... Я музыкант — артист — трубач...» От баб отбою нет!

— Так же и писатель, — меланхолично заметил Флавий. — «Видите, у меня гемор, я — писатель, инженер человеческих душ...»

— А вот и наша птица Феникс! — воскликнул Гриша, обнимая и троекратно целуя Виноградова. — Этот человек прекрасен, как древнегреческая скульптура. Под его разноцветными одеждами и гладкой белой кожей течет горячая алая кровь и бьется любящее сердце. Им можно любоваться, но лучше на него молиться! Сейчас он на девятом месяце, вьет гнездо, а видели бы вы его огненное шоу, когда вокруг вспыхивает всепожирающее пламя и Гарик сгорает дотла, после чего восстает из пепла!

Бубенцов был в отличном, просто превосходном настроении. Асс общения, он обладал россыпью возможностей привлечь к себе сердца художников, а также их правообладателей, показать, что он точно такой, как и ты. На самом же деле этому редчайшему симбиозу арт-дилера и поэта были свойственны надмирность, и полет, и одновременно связанность с этим миром прочнейшими стропами, которые крепко удерживали его на околоземной орбите.

По ходу своего монолога он так и шарил глазами по стенам, будто напал на след похищенного шедевра из Лувра, взгляд его ярче и ярче загорался охотничьим огнем.

Он потрясенно двигался от картины к картине, то приближаясь, то отдаляясь от полотна, прищуриваясь и бормоча себе под нос — вроде: «Черт-те что!» или «Гениально!» — не разберешь.

— Положа руку на сердце, — наконец заявил Бубенцов, — это золотая жила. Готов на реализацию взять любую работу из вашего собрания. А поскольку они мало чем отличаются друг от друга...

Тут одна картина с грохотом свалилась со стены.

— О! — сказал он. — Давайте ее сюда, это хороший симптом, значит, продается, я вам говорю! Отличный натюрморт или что это? Похоже на баклажаны...

— Это Юдифь с головой Олоферна, — поспешила ему на выручку Агнес. — Вы разве не видите, Бубенцов? Приглядитесь...

— Да что мне приглядываться, за его картинами стоит вселенная, целая жизнь художника здесь отображена, судьба творца, трагический рок, преследующий живописца, вот что важно и повышает капитализацию... Самое главное, что нету его, это хорошо, что он умер, то есть, плохо, что умер, но для продажи — хорошо. Значит, картин больше не будет, путь художника окончен — можно продавать. Я возьму «Юдифь с баклажаном» и покажу эксперту одного аукциончика в Лондоне, у него как раз рейд по московским мастерским. Окей? — спросил он Фёдора. — Кем он вам приходится, этот Золотник?

— Бывшим соседом, — сказала я. — Мы нашли его картины возле мусорки.

— То есть как — возле мусорки? — удивилась Агнес.

— А что такого? — не растерялся Бубенцов. — Слышали, картина Рубенса провалялась в сарае сорок лет, никому не нужная: эка невидаль, голая баба нарисована! Теперь ее реставрировали, и она стоит пятьдесят миллионов! Кто знает, может, мал Золотник, а дорог?

— Рубенс — это несколько веков, — возразила Агнес, — а Золотник — даже века нет... Но, знаете, Бубенцов, я с вами согласна: словно зефир повеял над лугом — такой эти холсты излучают покой, такую тишину и, в конечном итоге, спасение, вы не находите? Ей же ей, я поговорю с заводделом новейшего искусства. Почему бы музею — в дар — не принять парочку полотен?

— Короче, беру половину с продажи, — сказал Бубенцов. — Как в песне поется: «Тебе половина, и мне половина! Луна, словно репа, а звёзды — фасоль! Спасибо, мамаша, за хлеб и за соль!» ...Всё, всё, ресторан закрыт, пора по домам.

Ушли Флавий с Агнессой, откланялся Жан-Луи. Покинул охотничьи угодья Григорий Бубенцов, словно подстреленного вальдшнепа, унося под мышкой завернутую в полотенце картину Ильи Матвейча с изображением то ли ангелов, то ли облаков, то ли бледных баклажанов на бледно-голубом поле.

Крепко обнявшись, спали Павел и медведь, пропахший до печенок табаком. Глядя счастливые сны, в нашей супружеской постели мирно посапывал подкумаренный Сикейрос. Рядышком вздыхал его неразлучный жестяной пау-вау, обтянутый бизоньей кожей. А на зеркале в туалете красовалась особо замысловатая закорючка, начертанная Колышкиным, одному ему понятная, означающая Путь или Огонь, снедающий все на своем пути, я не знаю.

Так мы и зажили среди полотен Ильи Матвейча, в этой белизне, от яичной скорлупы до серой дымки, осененные бело-розовым колыханьем крыла, отраженного в зеленоватой реке, вроде того узора, что наносят на заиндевевшее стекло солнечные лучи.

Это возвратило меня в детство, в наш пчелиный улей, абрикосовку. Я там вечно околачивалась в коридорном тупичке. Дверь Ильи Матвейча приоткрыта, встану и смотрю, подпирая плечом дверной косяк, как ложатся краски на свежий холст. Вот что сводило меня с ума — миг приближения к бесцветному холсту, он будто подкрадывался, боясь спугнуть, я бы сказала даже, *расплескать* зыбкий образ, который намеревался запечатлеть.

Утратив несравненную Элен Илья Матвейч больше никогда не рисовал с натуры, но воплощал текучее неуловимое существо, внутренний призрак человека ли, предмета, зверя, дерева, цветка или горы. Слои за слоем наносил неторопливо и задумчиво, час за часом, день за днем, сквозь второй слой просвечивал первый, через третий просачивался второй и слегка сквозил первый, и так до бесконечности, оттого всем мерещилось таинственное мерцание, но никто не знал, откуда оно берется, кроме Золотника и его стойкого созерцателя, который бывал щедро вознагражден.

Художник Золотник доверял мне мыть кисти — с мылом теплой водой («Это колонок, Райка. Если ты испортишь кисточки, я тебе уши надеру!»). И допускал такого шпингалета в святая-таки святых: раскрашивать небо — альфу и омегу на его полотнах, бледную голубизну, где растворяется мир и откуда приходит Великое Молчание.

А ведь, по сути, он мне позволял на пару с ним живописать картину: вот кисть, вот краски, будешь рисовать? Держи!

И сразу вспыхивали синь небес, оранжевые облака — закатные, рассветные — неважно! Ярчайшая небесная дуга и огненный дракон, утоляющий жажду в море. Я упивалась своим могуществом, бросаюсь на приступ крепости, используя каждую

выбоинку, сжимая кривую саблю в руке, а в зубах ятаган, яростно карабкаясь на вершину вершин, рискуя вызвать обвалы и быть погребенной под ними.

«Пьяное солнце» называл Илья Матвеевич мое варварское вторжение.

— Не надо прямого цвета! — роптал он. — Ищи полутона, оттенки, смешивай! Ну, ладно, красный ты слегка обуздала, но желтый-то — вырви глаз! Стоп-стоп-стоп! Вот к желтому добавлять черный — это последнее дело...

А мне хотелось киновари, лимонной и лазури! Правда же, небо должно быть напоено солнцем, а облака — это небесные слоны?

В палитру мастера я пылко и безбожно вносила хаос и раздрай, но он приветствовал эти пиратские набеги и даже, может быть, не сплошь огульно замазывал мои прорывы к цвету, по свежей краске полыхающей прохаживаясь сереньким, голубоватым, тушил пожар, потом давал подсохнуть и тлеющие угли потихоньку лессировал аквамашином с кобальтом, пытаюсь впрячь в одну телегу коня и трепетную лань.

— Я мечтаю о таких учениках, — говорил он, — которые могли бы докрашивать мои картины лучше, чем я!

Это была открытая система, излучавшая его жизнелюбие, прихотливость характера, широту его натуры.

— Какого цвета воздух, Райка? — он спрашивал меня. — Цвет — он рождается из света. Все, что ни есть на свете — это свет! — он сколько раз мне говорил, но что я тогда смыслила в жизни? — Свет льется с высоты небес, он создает иллюзию предметов и сам же отражается ото всего. ...А от угла падения луча, — он вдруг мог заявить, — зависит зелень трав и пурпур бугенвиллий!

Свет картин Ильи Матвеевича пронизывал и озарял нас с Фёдором и Павлом, будто негасимый огонь далекой погасшей звезды, который я с детства считала непостижимым.

Увы, энергетические токи и небесные сферы Золотника, столь мощно одушевлявшие меня своей стихией, довольно угнетающе действовали на Фёдора. Особенно по ночам.

— Светятся, как гнилушки в чаще леса! — жаловался Федька. — Спать не дают. Что ты будешь делать с этими картинами? Вернется Бубенцов, притащит обратно «баклажаны», скажет, никому они не нужны, вешайте у себя на кухне и сами любуйтесь. Или мы вообще его больше никогда не увидим, тот еще жук! А ты развесила уши и уже готова отдать ему... самое дорогое, что у нас есть!

Федя рвался в Каракалпакию, там нашли вход в затерянную пещеру со стоянкой древнего человека, подледной рекой, костями пещерной гиены и пером птицы, которое «точно не принадлежит пингвину».

Чтобы развеять Федькину хандру, мы с Павликом водили его в музей камней на Моховой. Вместе крутили глобус чуть ли не в натуральную величину, важно разгуливали среди вулканических бомб Камчатки и Курильских островов, аммонитов и белемнитов, и всяких там отложений Девонского периода... Вместе лизали столб соляной, в который явно кто-то превратился, послушавшись ангельского запрета.

Лишь среди метеоритов, горного хрусталя и дымчатого кварца ощущали мы единение и семейное счастье. В музее камней Пашка был готов дневать и ночевать. Это свидетельствовало о том, что сын у меня все-таки от Фёдора, а не от Флавия, как думали некоторые.

Но муж мой томился, словно орел в неволе. Милый, бедный, великий отец нашего семейства! Для такой героической натуры, такой отважной и пылкой души, бредившей безлюдными подземными дворцами, шумные квартирники и дружные воскресные походы в музей геологии и горного дела — это слишком мелко... Ну как тут было не захнуть с тоски!

Его манила окраина мира, дремучий провал, где прятался ужасный змей Ёрмунганд, кусающий собственный хвост, который встречался в подводных пещерах Большого Солёного озера в штате Юта, в черных провалах пустынных районов Техаса и Юкатана и вроде бы в шкурудерах горы Фавор в Галилее...

Будто бы существуют места, которые можно покинуть и куда можно вернуться, и что-то может закончиться, и есть хоть какая-то отделенность, а не одно только сердце присутствия, изливающее себя, ну, и так далее, и тому подобное.

Единственное, что откладывало отъезд Фёдора, — это финансы, вернее, их отсутствие. Институт, где числился Федя лаборантом, переживал, как все маргинальные академические институты, нелегкие времена, зарплату сократили, про полевые работы речь не заводили, они и вовсе не оплачивались, даже на дорогу не могли наскрести.

— Ты только подумай, какие меня ждут сюрпризы в ущелье Салакташ, я уж не говорю про северо-восточный склон Ходжа-Мумына, — шептал мне Фёдор ночами в минуты особой душевной близости. — А в Саянах и на левобережье Ангары, в Байкальской, Забайкальской областях и в Южно-Сихотэ-Алинской спелеологической провинции!.. Ой, не могу, душа горит!

Как я старалась его удержать на Земле, всячески налаживала быт, бросила Сою поднимать хозяйство, какие-то деликатесы экзотические покупала в магазине «Путь к себе».

— Хватит идти по пути к себе, никуда не сворачивая, — ярился Фёдор. — Если ты еще хоть что-то принесешь из магазина «Путь к себе» — какого-нибудь сушеного индейца на строганину, я тебя домой не пушу! Там нужно только амулеты покупать.

Ладно, я притащила с базара куриные пупки.

— Ах, Раечка, никогда не покупай пупки, я с ними столько возилась! — стенала Соня.

— Какая гадость, этот ваш бефстроганов из пупков! — удивлялся Фёдор.

— Да-а, — сочувствовал мне Пашка, — не хотел бы я быть таким, как ты: маленькое тельце суетливое, всем готовое угодить, большая умная голова с набором разных физиономий, любую готова скорчить — и всегда наготове улыбка!

Как-то мой Федя вышел на балкон, поднял голову, а там огромный клин журавлей. Все курлычут, летят, и никто не ждет командировочных.

Ни слова не говоря, он оделся, пошел на работу, хотя был неприсутственный день, явился к завлабу и сказал:

— Мое терпение лопнуло, — сказал Федя, протиснувшись между шкафами. — Я еду в Каракалпакию автостопом. А вы продолжайте ждать и надеяться, что ваша гора придет к Магомету.

Завлаб встал из-за стола, открыл книжный шкаф, раздвинул трехтомник «Карстовые пещеры нашей Родины» и вытащил конверт.

— Вот, — вздохнул он, — касса взаимопомощи, бери и поезжай. Не на самолет, но на поезд, не купе — но плацкарта, до Нукуса доберешься — пересядешь на арбу. Да полегче на поворотах, Федя! Шкуродеры, провалы, обвалы — наобум Лазаря не суйся. Я ведь тоже, когда молодой был, рвался в поля.

Два ворона сидели у него на плечах и шептали на ухо обо всем, что видят и слышат, завлаб слал их на рассвете летать над миром, к завтраку они возвращались, от них-то он и узнавал, что творится на свете. Но сам знал одно: вещи безупречны. Они перетекают из формы в форму. Мы не можем ни хвалить их ни порицать.

Пока я на пристани, утирая слезы, махала вслед Фёдору белой хризантемой, а мой благородный муж громоздил паруса и стремился прочь от берега, мне позвонил Бубенцов.

— Слушай, Рая, надо с тобой переговорить. Приходи в отель «Рэдиссон» на Яузе, намечается аукциончик, благотворительный, будут продавать коров.

— Дойных? — спросила я деловито.

— Ну ты святая простота! Это проект международный. Раздают художникам пластмассовых коров, а те их разрисовывают, превращают в объект искусства. Попса, конечно, но имеет успех, народ любит такое, их в ГУМе выставляли на первой линии,

ты там давно не шопилась, как я посмотрю. Встретимся в пять часов, увидишь, как проходят аукционы, кстати, на них можно иногда недорого приобрести шедевр и толкнуть заваливающую картинку за приличную сумму.

Лобби полно было странных и примечательных людей — звезды эстрады, артисты, светские львы, толстосумы, тусовщики, аристократы, художники и разукрашенные коровы в натуральную величину.

Певец Сюткин своей корове нацепил маску, лапы и дыхательную трубку, а туловище разрисовал пузырями — корова-дайвер; Молодяков и Ёнчик вкрутили лампочку в коровий глаз, второй — завязали черной лентой, жалко, ей не хватало флага «Весёлый Роджер» и деревянной ноги, была бы корова — джентльмен удачи! Макаревич изрисовал корову котами, Башмет — скрипичными ключами, кто-то изобразил пейзаж: бездонное небо широким синим мазком, зеленую землю, а на задней ноге — цветок. Еще была корова-Вселенная, усыпанная ночными звездами, а на рогах у нее — лайт-бокс в виде ясного месяца Леонида Тишкова.

Мартини, белое и красное французское вино, коньяк Шато де Монтифо, на тележке торт приехал — с коровой из суфле. Такого изобилия я отродясь не видывала.

В ожидании аукциона вели неспешные беседы, потягивая шампанское и Хенесси. Бубенцов подвел меня к одной компании и представил:

— Это Райка — начинающий дилер. А это — Сергей Шутов, видела, в фильме «Асса» его картины — самолетика, самолетика и черточки?

Шутов — во фраке с длинными фалдами, в ослепительной рубашке с накрахмаленным воротником, уже разомлевший, лоснящийся, хмурый Файбисович, вальяжный Юликов, Бартенев, наряженный гвардейцем, с игрушечным барашком, сумрачный Карпов и грустный, молчаливый Берштейн — слушали Алису Дегтярёву, вчера по телевизору она комментировала заварушку в Японии: на выставке обнаружили подделки Шагала и Филонова, чьей-то набитой рукой — размашистыми мазками, при том что Филонов своей тонкой кисточкой — тюк-тюк — месяцами — одно и то же. А тут раскованно, привольно...

— У Васи в музее половина подделок. А Филонов — только подделки, — говорила Алиса. — Шагала настругали — играючи, грубо, *нелетяще*... А уж «Чёрного квадрата» Малевича только ленивый не подделывал.

— Ха-ха-ха, — засмеялся Ёнчик, — копия «Чёрного квадрата» — ха-ха-ха!

— ...Японцы сделали экспертизу, они дотошные, — продолжала Алиса. — Внучка Шагала из Парижа прилетела — ни в каталоге этой картины нет, нигде. Отыскали Васю в Венеции. Он идет — щеки красные: «Какая ерунда, — говорит, — у этой картины давняя история, во время Второй мировой войны ее кто-то купил у кого-то в Средней Азии, в эвакуации, потом Зураб Константинович приобрел ее у одного грузинского директора винзавода, картина полвека болталась не пойми где, про нее и думать забыли!» А сам в камеру не смотрит, глаза отводит.

— Подделывать они горазды, придумать ничего не могут, а накалякать фальсификат — раз и готово! — воскликнул художник Лепин, певец трав и насекомых. — Мне говорят, Жека, это твоя трава, мы купили. А я смотрю — не моя трава, души в ней нет, ведь я в каждую травинку вкладываю кусок своего сердца!

— Теперь этот бедный японец, — сказал Шутов, — подаст в отставку, если не решится на харакири, у них там другой кодекс чести, не как у нас. Кстати, на этой выставке две мои картины.

— Подлинники, надеюсь? — спросила я простодушно.

— И это легко проверить, — ответил Шутов. — Я незаметно пишу на холсте день и час моего рождения. Кстати, подделка — это большой геморрой: влезть в шкуру художника, найти родной холст, добыть родные краски, а тут тебе и рентген, и химический анализ, а главное — интуиция эксперта...

— А вот и Зураб Константинович! — сказала Алиса. — Никто ему ничего не заказывал, все — по зову души...

Мы обернулись и увидели, как в распахнутые двери «Рэдиссон-отеля» дядюшка Зураб при помощи двух дюжих молодцов затаскивает свою корову.

— И правильно делает, — одобрил Бубенцов, — сам купил, сам принес и сам купит! Мизерные траты, а имя капитализируется.

Тут начался аукцион, и публика устремилась на стук молотка ведущего: всех волновал один вопрос: чью и за сколько продадут первую корову.

— «Корова в траве!» — выкрикнул лорд Балтиморд.

— Свинство какое, опять с меня начали! — возмутился Жека. — Первые лоты — для разогрева, на первых никто не западает.

— Пять тысяч! Шесть тысяч! Восемь! Девять! Продано!

— А я что говорил?! — с облегчением вздохнул Лепин. — Трава — она не подведет! Самое лучшее, что есть на Земле — трава. Она растет себе на лугах и полях, я всю жизнь ее рисую, образ донника и зверобоя, горечавки с мятликом, чертополох, я запечатлеваю прекрасное! А лорды-балтиморды, — он снова нахмурился, — как косою полоснули под корешок, продали мою кормилицу, отдали безвозмездно ненасытным пастухам. Доят нас, художников, со всех сторон. Все эти аукционы — полная надуваловка!

Лепин допил виски, засунул стакан в карман полосатого пиджака и отправился восвояси. Навстречу впорхнула Ольга Свиблова, директор Мультимедиа Арт Музея, искусствовед и красавица, примчалась на «мерсе» с каким-то олигархом.

— Вы опоздали, дорогая, — сказал ей Жека, целуя ручку. — Мою корову уже продали!

И ломанулся в ночь пешком через мосты, под звездами, в сторону Третьяковки.

Застыв на гранитном пьедестале, художник Репин с кисточками долго глядел вослед собрату, который нетвердой походкой, сутулясь, шагал к Новокузнецкой, где у входа в метро гужевалась совсем другая публика, не такая пафосная, как на аукционе Сотбис.

— Нет, вы видали? — воскликнул Бубенцов. — А просочиться в каталог, привлечь к своей пожухлой траве журналистов?! Этого мало? Единственный художник на Земле — Венецианов — не нуждался в пиаре! Его картинки были на папиросах «Казбек» и «Беломор». «Что мне выставки? — он смеялся над славой этого мира. — Любая мусорная урна — мои выставки!» Вот я тебе скажу про твоего Золотника: Макдугаллс выставляет на аукцион «баклажаны», но с ними надо поделиться. Тебе бы досталась четвертинка...

— Уже неплохо!

— Но! Четвертинка не получается, только осьмушка. Ополовинили на всем скаку: так, мол, и так, берем на усеченных условиях. — И он достал из кармана пиджака бумагу с логотипом лондонского аукционного дома.

Я шла к метро по горящим следам Жеки Лепина, потрясенная увиденным, втянутая в поток необъяснимых явлений, который течет из тайных источников и стремится к неведомым целям, тебе же остается только зачерпнуть с поверхности, ухватить какой-то призрачный образ, то, что ничем не истолковать и ничем не поверить... кроме как «законом Золотника».

На Балхаше Митя Осмёркин, ознакомившись с краткой тогда еще биографией друга, был ошарашен.

— Смотри, — сказал он (а Митя — человек умнейший и остроумнейший!), — где бы ты ни появлялся, обязательно что-то происходит, как скоротечная чахотка.

— И правда: полностью меняется картина! — удивлялся Илья Матвейч. — Иногда в лучшую сторону, иногда в худшую. Стоит мне познакомиться с человеком — жди больших перемен в его судьбе.

В юности, как известно, он подменил заболевшего тубиста в оркестре Алма-Атинского оперного театра, после чего дирижер Фуат Мансуров двинул на повышение и достиг таких заоблачных вершин, что возглавил оркестр Большого театра в Москве и занимал эту должность, пока при восхождении не отморозил ноги, он был альпинистом.

История со скрипкой Страдивари, поднесенной в дар Ойстраху бельгийской королевой, тоже имела продолжение. После того, как Илья Матвейч в кипенно белых перчатках торжественно установил скрипку в музейной витрине, хранительница под аплодисменты Ойстрахов крошечным ключиком замкнула стеклянную дверцу.

Золотник ей сказал:

— Дорогая, пока нас не грабят, как на Западе, не заменить ли оригинал на копию? У тебя фигня, а не ключик! И не витрина, а сплошная фикция.

— В музее??? — воскликнула она. — Муляж?! Ни за что!

Через девять лет скрипку Ойстраха украли. «Закон Золотника» порой выстреливает не сразу, крайний срок — двадцать лет, это уже доказано.

Боюсь, в моем случае тоже сработал «З.З.», ибо с той минуты, как я обнаружила во дворе картины, жизнь моя поменяла привычное русло, раздвинула берега, покатила пенным валом, угодив на стрежень, и пошла блуждать по широкой пойме, перенося огромные массы песка и тонкого ила, отражая дубовые рощи, срываясь со скал.

Причем ни логики в этом не было, ни правил, которые позволяют отступающему возвратиться к своему истоку, — лишь один закон прозрачности, которую так тщательно искал Илья Матвейч, бросая краски на поверхность холста. А уж из этого хаоса рождалась у него гармония белизны, и, если картина не становилась белой, он не считал ее завершенной.

Бабье лето кончилось, зарядили дожди, редко, очень редко мы виделись с Флавием.

— Я как парусник, — он говорил, — в меня надо вдвухать энергию. Хотите — вдвухайте, не хотите — я и пальцем не пошевелю.

Поддерживать интерес Флавия к жизни можно было только непрерывно его нахваливая, осыпая благодарностями, очерчивая манящие лично его горизонты, которые стремительно сужались, пока не превратились в точку, а если ты остановился, чтобы перевести дух, голос его становился все безжизненней, и довольно быстро он утрачивал к тебе всякий интерес.

Фёдор в отъезде, мы с Пашкой не могли решить примеры по математике.

Я позвонила Флавию.

— У вас что, — он спросил, — нет поближе кого-нибудь, кто бы в этом соображал?

— Ближе тебя у нас нет никого, — смиренно отвечала я.

Просто не верилось, что этот человек мне говорил: «Я буду всегда тобой любоваться. Даже когда ты станешь старенькая — ...если буду жив».

Раньше мы пели с ним, обнимались, ели горячие пончики, друг другу в рожу сдували сахарную пудру, вёснами нюхали черемуху, лазили через забор в японский садик, слушали пенье лягушек, любовались цветущими вишнями, липа когда цвела, нам вообще сносило крышу...

И когда Земля летела сквозь Персеиды, а листья — по дорожкам: орешины, осины? И канадские клены стояли совсем малиновые. Как я любила этот день между блаженным летом и назревающими дождями, подрисованной крапlachком рябиной, густо намалеванным боярышником и шиповником.

Зимами босиком бегали по снегу. Как-то раз Флавий искупался в проруби — главное, не собирался, вдруг видит — кто-то голый вылезает из заледенелого пруда поздно вечером, он разделся и — в прорубь, полотенца у него не было — выбрался, побегал, обсох, оделся, пошел домой... и больше никогда этого не делал.

— Какая женщина! — говорил Флавий, глядя на меня влюбленными глазами. — Ни денег не надо давать, ни жениться — просто подарок.

В любой, самый не подходящий для этого момент, он мог запеть самозабвенно арию Брунгильды из оперы «Валькирии» («Я чё-то Вагнера полюбил последнее время...») На мой вопрос, откуда он знает слова, Флавий застенчиво отвечал:

— Я только свирель, на которой играет Бог.

Вдруг решил, что мне надо срочно купить коньки!

— У Фёдора сейчас нет денег на коньки, — я отвечала.

— Я ему одолжу, — предлагал Флавий. — Он потом отдаст, когда будут.

— Следующий кадр, — говорю, — я, сухонькая старушка, лежу в гробу, и вы, два убеленных старца, склонились надо мной. Фёдор тебе протягивает деньги: «Возьми, за коньки». «Не надо, — говоришь ты. — Это подарок». «Бери, бери, еще пригодятся». — «Ну, пополам...»

— Камера опускается, — говорит Флавий, — а на ногах у тебя вместо белых тапочек — фигурные коньки.

На выставке достижений народного хозяйства он тоннами затоваривался БАДами и витаминами, в результате чего в павильоне «Здоровье» у него образовался дисконт. Я хотела купить там бутылочку масла зародышей пшеницы. Так Флавий меня похозяйски представил продавщице:

— Вот Райка, — сказал он, — это баба моя.

И мне сделали скидку в половину.

На закате солнца он бегал трусцой, пил собственную пропаренную мочу и сбрызгивал ею голову, чтобы волос гуще рос.

— Главное, не надо хлеба дрожжевого есть, это яд. И пить кваса, — рассуждал Флавий. — Чувствуешь, у меня одна ноздря заложена? Значит, щелочной перевес в крови.

— А если две? — я спрашивала с грустью.

— Если две — то тебе крышка.

Или он спрашивал:

— У тебя как желудок работает? Хорошо? А у меня не очень.

— Слабит или крепит? — приходилось поддерживать этот засушенный разговор.

— Крепит, — серьезно отвечал Флавий.

Вдруг стал жаловаться, что при виде меня у него закладывает иную ноздрию — не ту, что заложена обычно. Вероятно, какая-то утечка энергии. Пришли в гомеопатическую аптеку, там был аппарат, измеряющий энергетику, Флавий предупредил:

— Если у тебя будет низкий энергетический уровень, я тебя брошу.

Смерили: у него — пятьдесят четыре, у меня — четырнадцать.

— Молодец, Райка! — Он даже опешил. — Никакой лишней энергии!

— Ты же говорил...

— Ну, я не думал, что *настолько* низкий. Только последний подлец может бросить женщину с таким низким энергетическим зарядом.

Мы сидели на лавочке у пруда, я и Флавий, за нами наблюдали боги с небес.

Листья на дубах не опали, но как-то застыли на ветру, большие столетние дубы, полупрозрачные; под мостками скопились утки, а на берегу совершенно по-летнему зеленела трава.

Обретший чистоту и мир, Флавий говорил:

— Вот придут сюда стариком. Подумаю: здесь мы сидели с тобой. Так и жизнь прошла.

В конце ноября деревья стояли голые, ожидая зимы. Но что-то в природе не заладилось, солнце стало припекать, проснулись мухи, на сирени набухли почки!

— Весна пришла, — заявил Пашка, собираясь в школу, — шапку не надеваю, иду без куртки!

Близился Новый год, в школе творилась неразбериха, мама, папа и я дружно запасались новогодними подарками. Теперь детям трудно угодить, Сонечке в «Детском мире» посоветовали шпионский набор: черные очки, фотоаппарат, которым можно делать тайные снимки, также в комплект входили лупа и наручники. Отцу Абрикосову аспирант привез из Берлина коллекцию мусороуборочных машин (одна из них говновозка), подробные модельки, выполненные со знанием дела, потом было много насмешек по этому поводу.

Я на книжной ярмарке накупила специальных развивающих книг, роскошно изданных, с цветными иллюстрациями, две даже с автографами известной шведской писательницы. Сама Пернилла Стафельт надписала Павлушке нежные слова и нарисовала на одной книжке алое сердце, пронзенное стрелой, а на другой череп со скрещенными костями. Я уже предвкушала, как мой дорогой мальчик станет их почитать, оказалось, одна — про смерть, а другая про половую любовь.

При моих широких взглядах на жизнь и абсолютном ее приятии во всем чарующем многообразии, меня бы это ничуть не смутило, но на полосной иллюстрации члена с яйцами в разрезе и на двух беззаботных лесбиянках, которым явно по требованию российского издательства — в разделе, где автор приоткрывает завесу тайны для аудитории «0 +», что любовь в этом мире принимает самые что ни на есть причудливые формы, подрисовали лифчики с трусами, — даже я слегка забуксовала.

В общем, выдалось спокойное утро, когда я, пропев мантры и попробовав свои силы в сердечной йоге, двигаясь грациозно и величаво, поощушала себя Царём терпения, попревращала копья в цветы, поразгоняла тьму, прониклась безмолвием небес и с чистой совестью собралась выпить чашечку кофе... И тут *мой двор уединённый твой колокольчик огласил!* То несся ко мне Григорий Бубенцов, сметая версты.

Ах, как ладно сидел на нем купленный в модном магазине «Хародс» на Трафальгарской площади новый гороховый кардиган знаменитой британской марки для занятых людей, которым важно себя ощущать на коне с утра до ночи!

— Принес благою весть, пляши! — сказал он и вытащил из-за пазухи разивший типографской краской свежий номер «Российской газеты». Он развернул ее, и на четвертой полосе вспыхнул заголовок, напечатанный жирным шрифтом:

Картины продаются, родина — никогда!

Внизу помельче:

Рекордные продажи отечественной живописи за рубежом!

А посередине — фотография картины, и картина эта была нашего Ильи Матвевича. Именно его, а не Оскара Рабина или Немухина, и не раскрученного гения всех времен и народов Анатолия Зверева!

В тексте говорилось, что работа мастера продана за двадцать тысяч фунтов стерлингов после восьми минут торгов неизвестному покупателю по телефону, подозревают, это японский воротила, превративший свою дискаунтовую сеть Fast Retailing по продаже одежды Uniqlo в главного мирового ритейлера.

— Ура!!! — закричали мы с Пашкой.

Затем — пунш, рукопожатия, объятия, факельное шествие!

— Я могу заниматься куплей-продажей ловко и обтяписто! — ликовал Бубенец. — Держу пари, это проделка японского магната. На аукционах публика сидит с закрытыми ушами, зажмуренными глазами, запечатанными устами, а для японского нувориша борьба за обладание истинным шедевром авангардного искусства 60-х становится вызовом и великим приключением, потому что сердце японца распахнуто миру!

— Наши со стула упадут, когда увидят! — потирал он руки. — Купил Золотника

за такие бабки! А сам небось Хокусая от Хитомаро не может отличить! Хотя, черт их знает, японцев. Может, он и Ивлина Во читал, и не любит Глазунова...

Гриша то превращался из дилера в поэта, то из поэта — обратно в дилера:

— А кто еще? Англичане — спесивые, самодовольные, заносчивые, одно слово — островитяне, видите ли, они собрались насадить католичество в Индии! Но их миссионеры не смогли пройти сквозь огонь!

Правда, на все мои вопросы — когда можно получить деньги и сколько, Григорий отвечал уклончиво. Но я уже слёту начала строить радужные планы: только откроются золотые закрома, начну работать над каталогом персональной выставки, арендую зал. В центре Москвы будет подороже, но по деньгам. Приглашу великого искусствоведа Виталия Пацюкова, он воспоет Илью Матвеича, проанализирует его творчество. Чтобы все было, как принято в академических кругах.

Биография Золотника таит в себе много белых пятен: видимо, биографам задним числом придется додумывать поздние годы мастера и сцену его кончины.

— Ладно, пока бери газету, у меня еще есть! — великодушно сказал Григорий. — И составляй опись картин, я договорюсь с фотографом, он отщелкает. Будем подходить с умом к наследию мэтра! — И Бубенец растворился в тумане.

Первый, кому я, светясь от счастья, показала газету, — это одноглазый медведь, больше было некому. От Фёдора уже второй месяц — никаких вестей, хотя бы разок позвонил, но для этого надо выбраться на свет божий, вскарабкаться на пригорок, найти сигнал сотовой вышки, которых, скорей всего, в Каракалпакии нет в помине...

С Флавием тоже особо не поделишься ни земной радостью, ни печалью.

— Не отвлекай меня от моего Ничто, — откликнулся он на мои звонки слабым голосом.

Не то чтобы я тосковала по человеческому становью, нет, в конце концов, вся наша жизнь — это плод воображения и в итоге растает без следа...

Вдруг звонок в дверь. Лицо человека, стоявшего передо мной, казалось отдаленно знакомым, как будто давным-давно, совсем в другой жизни, я с ним встречалась — убей, не помню, где. Чем-то веяло родным от этих белесых бровей и оттопыренных ушей, белых ресниц и бесцветных глаз, почти не тронутых голубизной. Но для законченного образа, похоже, не хватало детали...

— Привет! — сказал он. — Не узнаешь? А я бы тебя и на улице встретил — узнал: все тот же длинный нос, который ты вечно суешь, куда не надо. Я что, сильно изменился?

— Вовка! — Я кинулась его обнимать. — Сколько зим, сколько лет!!! Ты откуда взялся? — А сама знай стаскиваю с него пальто, в голове закрутилось: нажарим котлет, наварим макарон, винегрет и бутылка «перцовки» в холодильнике, устроим пир горой! *Матаафа пришел к Туситале с той единственной целью, с какой один друг приходит к другому: отразиться в его глазах!* Это ли не повод выпить?

А он так серьезно — не улыбнулся, ничего, ботинки скинул и в комнату.

— Ах, во-от они где, картины моего любимого дяди Ильи! И чегой-то они тут делают?

...Челочки не хватает, реденькой челки под линейку на стриженной голове — Вовка полысел, такая бледная гладкая лысина венчала Вовкину тыкву. А в остальном — как в детстве: тощий, лопухий и белобрысый, Сонечка звала Вовку Иван Царевич.

— Все было на помойке свалено, — говорю. — Я их спасла...

— А кто их туда поставил? — произнес он с видом владетельного принца. — Они же не из-под земли выросли! Стопочкой сложил, а наутро хотел забрать.

Врет и не краснеет, подумала я, глядя на него сквозь пелену любви.

— Ну ты и выдумщик, — говорю. — Кто велел дворнику Айпеку выбросить холсты в мусорку, дал ему пятьсот рублей... Дал?

— Дал, чтобы он дядины картины аккуратно вынес на двор и сторожил до утра, а ты, значит, воспользовалась его отлучкой и уволокла к себе в конуру. Картины мне по наследству достались, дядька мой — как отец родной. А не отдашь, пойду в полицию и напишу заявление, что ты нас обокрала, да еще продала ворованное за границу, — и достает из кармана газету!

Исполненный решимости, непоколебимый, Вован застыл передо мной, раздувая ноздри. Прямо не верилось, что это мой Вовка-морковка, простая душа — блефует, угрожает... А я смотрю на него — и у меня такое чувство, будто у меня в бане украли одежду. И я не знаю — то ли мне у банщика просить лишнюю простыню, то ли звонить родственникам, то ли самой у кого-нибудь украсть.

— Картину продала, — продолжает он с видом Ангела Возмездия, пришедшего исполнить волю Вселенной, — а где мои деньги?

Тут, как в «Ревизоре», появляется Фёдор — заросший, в грязном комбинезоне, в каске, с огромным рюкзаком, обветренный, морда красная — и застаёт вышеописанную картину.

— А это еще кто? — спрашивает он хриплым голосом простуженным.

— Друг моего детства — Вован. А это муж мой, спелеолог Федя, еще немного и он соорудит кадастр всех пещер планеты, — с гордостью говорю я. — Знаешь, Вов, что такое «кадастр»?

— Нет, — признался Вовка. — Зато я знаю, что такое *отчуждение собственности*, статья 158 «в»: срок лишения свободы до двух лет. В лучшем случае! — обратился он к Фёдору. — Я человек принципа и никогда никому ничего не спускаю. И, знаете, что еще? Я напишу в прокуратуру, что у моего дяди Илюши там были не только картины.

— Приехали! — Фёдор скинул рюкзак.

Кому как не мне прекрасно знать, что Федька порою бывает дик и порывист: я испугалась, что он сейчас спустит моего друга с лестницы, поэтому заслонила его, как это обычно делала в детстве. Он был тихоня с вечным насморком, рос без отца, родился восьмимесячный и, Берта говорила Сонечке, что «мамэ Илюшиного племянника — женщина с трудной судьбой». Он и теперь шмыгал носом, мечя грома и молнии, а носоглотка по-прежнему беспокойная, наверняка и горло красное...

Однако я плохо знала Фёдора.

— Снова на те же грабли? — с укором сказал он. — Вспомни, как на Арбате какой-то хрен уронил кошелек, ты подхватила и бросилась за ним. Тот: «Ой, спасибо, спасибо! ...А деньги где?» — «Я не открывала...» — «Ах, не открывала! Тут было сто долларов и двадцать тысяч рублей!..» Он тебя хват за шкурку и давай трясти, как Карабас Барабас Буратино! Пришлось мне дать ему денег, чтоб отвязался... А как ты стояла горой за насильника и убийцу, зарезавшего товарища?! Теперь твой Вовец накропает на нас донос, мол, его голоштаный дядюшка был подпольный миллиардер, в туловище мишки зашиты золотые червонцы и облигации трехпроцентного займа, тубики с красками набиты бриллиантами его покойной бабушки...

— Я должен получить то, что мне причитается! — выкрикнул Вовка.

— Хорош качать права, Владимир, вызывай газель, — скомандовал Фёдор. — Я тебя погружу, и до свидания! Сколько вы не виделись, добрые друзья? Чтоб еще столько же, а то я за себя не ручаюсь.

— Решим дело миром, — говорю. — Может, по стопарику и по котлете? Больно уж повод хорош!

— Лучше не придумай, — мрачно заметил Фёдор.

А пока он грузил холсты, ругаясь и чертыхаясь на чем свет стоит: муж только с поезда, с Казанского вокзала, еще не смыл с себя дорожную пыль, а тут опять таскать, вот оно, чем заканчивается странствие Гильгамеша — к обиталищу богов, Улисса в Землю обетованную, Геракла — к Саду Гесперид на Яблоневиный остров Авалон, чтоб завладеть волшебными плодами, которые караулит стоглавый дракон, — на лестничной

клетке нарисовался Бубенец с фотографом-австрияком. Где он его только откопал? Кремлёвский кубок по теннису давно закончился, а Коля застрял в России, ни туда ни сюда.

Они приходят, а мы все в происшествии. Боже правый! Какой у них был растерянный вид, когда они угодили в эту чехарду!

— Оставил картины у контейнера. Вернулся, а там — прикинь? Ни кола, ни двора, ни куриного пера, как говорил мой гениальный дядя, — охотно объяснял им Вова. — Все Райка утащила.

— Выкинул, а теперь спохватился, — подначивала я товарища по детским играм, при этом ощущая себя самым счастливым существом на земле. Ведь окружающая реальность просто волшебна! Я поняла, что мы не должны ссориться между собой. Это мелочи, надо быть выше этого. Скажите: я вся эта жизнь в целом, — остаюсь спокойным и безмятежным!

— Что ты заладила как попугай? — огрызнулся Вовка. — Я положил их на временное хранение. Да, что-то нарочно припрятал в бак, чтобы сохранней было. Мне эти картины достались по наследству, я — наследник Илюши! Единственный! Я!!!

Он, бедолага, настолько загрузился этим бредом, невозможно его было ухватить ни за какие яйца. Но Бубенец не был бы Бубенцом, если бы виртуозно не сориентировался в этом изменчивом мире:

— Владимир, возьмите мой телефончик, я к вам наведаюсь... Мы с вашим дядей еще заварим кашу... У меня на мази одно дельце, которое принесет большой барыш! Впереди «Сотбис», турецкий султан обещал пожаловать в скором времени, индийский паша начал собирать современное искусство... Чтобы он не залег у вас мертвым грузом!

А мне он зашептал:

— Отдала и молодец, а то будет, как с художником Рихтером: он выбросил свою картину, какой-то мужик нашел и продал, так суд вытряс все, что он за нее получил. Да еще обложили штрафом! Тот им: «Братки! Я ж на помойке нашел!» А ему: «Не твое — не трожь, закон на стороне частной собственности, мало ли что там лежит!» Чуть не посадили. Увы, твою восьмушку придется пилить пополам. Но это будет крупный куш, не волнуйся!

А мне — когда кто-то говорит «не волнуйся», я сразу начинаю волноваться. У нас было планов громадье, а теперь прости-поощай — таков бесславный конец? Прямо так и хотелось спросить у Вовки: благородное ли вы дело затеяли, сеньор? Вон он какой надутый, гордый как папа римский, что положил нас на лопатки, да еще и шапками закидал.

— Трогай, брат, на Кустанайскую, — важно сказал племянник рекордсмена Макдугаллс, усевшись в кабину водителя.

— ...И не забудь про фунты стерлингов, ворованное нехорошо продавать... — крикнул он мне из машины.

— А мишку, набитого самоцветами, забыл???

— Оставь себе, на память о нас с дядей! — откуда-то издали принес ветер, как будто перекатывался вечно удаляющийся гул морского прибоя.

Конечно, в жизни все следует предусматривать, но есть вещи до того непредвиденные — как хочешь их предусматривай, хоть всю жизнь о них думай, они и тогда не утратят характер непредвиденности. Не знаю, что толкнуло Володьку на этот шаг: божественная глупость или великая игра, но — как нас учит отец Абрикосов: что бы не случилось, улыбайся — и все.

Со смятанным сердцем я возвратилась домой. Звенящая пустота окружила меня. Быстро же я привыкла слоняться среди трепетавших полотен, под светлым плеском

небес и парусов, с холодным паром утреннего тумана, легкой землей, мягкими тенями и солнечными бликами, у подземных вод, в гуще колдовских превращений.

— Вот оно, как дело обернулось, — сказала я Фёдору. — Какое буйство жизни! А что? Это даже любопытно.

— Ничего тут любопытного! — с места в карьер кинулся возмущаться Фёдка, увидев мое изумленно-приветливое выражение лица. Он уже рассупонился, сбросил башмаки, вылез из комбинезона и фланировал по квартире в кальсонах, проношенных не то что до дыр, а до состояния капронового чулка. — Я хочу разоблачить твоего негодяя и сутягу! Это же — жлобы! Жлобы, мещане, мелкие людишки. У меня просто тектоническая плита уходит из-под ног при виде подобного хмыря — понимаете ли, он приехал и уехал на белом скакуне, а ты чувствуешь себя говном в проруби!

— Не стоит сгущать краски! — сказала я. — Исходя из того, что мы не можем контролировать Вселенную...

— Хватит прекраснодушеествовать!!! — заорал Фёдор, мало-помалу теряя и сдержанность, и последние остатки рассудительности. — Ты бы хоть на хер послала кого-нибудь, что ли!

Но я уже никогда никому не скажу ничего плохого. Люди так напереживались за свою жизнь, все такие ранимые — ужас, особенно те, кто набрали общественный вес. Единственное, иной раз ляпнешь чего-нибудь по глупости, как водится, — в самый неподходящий момент, самому неподходящему человеку, с самыми для себя непредсказуемыми, по большей части, катастрофическими последствиями.

Фёдка прав, я постоянно выдаю желаемое за действительное, вдохновенно золочу пилюлю, ибо реальность давно стала для меня чем-то эфемерным и проигрывает в сравнении с мечтой. К тому же, я такая замотанная, что не способна воспринимать жизнь как она есть. Моя гедонистическая натура надстраивает ее вширь и вглубь, я приукрашиваю этот мир — и догадываюсь, зачем: чтобы сделать его приемлемым!

— Все у нее чики-брики! — не унимался Фёдор. — Кругом ангелы летают. Вылез таракан? «Не смей его дави-ить! Это же жу-ук, а не таракан! Жук-бронзовка, просто худоо-ой, его не докормили, скорей несите ему куша-ать...», — он меня передразнивал. — Это прекрасная кассета... Тянет? Гудит? ...Так это же Артемьев, что ты хочешь...»

Фёдор бушевал. А я вдруг вспомнила, как мы в детстве с Вовкой вместе хоронили умершего кота. Вспомнила точильщика ножей с потертой сумкой на ремешке через плечо, в сапогах, фуражке и длинном фартуке брезентовом, его станок с двумя серыми каменными кругами — шероховатым и гладким. Круг вращался, из-под ножей, ножичков и ножищ сыпались оранжевые искры, камень свистел, сталь шипела, а мы с Вовкой стоим и балдеем.

И сама абрикосовка, растянутая на бесконечные пространства, в ее сердце рождались ветры, из окон вылетали чайки. Там, где все имело четкие контуры, наш дом попирали законы геометрии: в моей детской памяти он почти уже не здание — комнаты, ничем не связанные, парят в вышине, легкие, как воздух, пролеты лестницы, площадка и кусочек коридора, где стоял знаменитый гардероб. Нам всегда казалось с Вовкой, что из его черной замочной скважины слышится невнятный говор. Вспомнились оранжевые абажуры, мамина котиковая шуба и папин парусиновый портфель, ширма с цаплями Берты, чернильница ее мужа Вольфа с тремя отделениями — для зеленых, лиловых и красных чернил...

Бобби Макферрен наяривал на виолончели Моцарта, Бетховена и Баха. Под этот угарный трэш Федя с Пашкой наряжали елку. С балкона принесли коробку с игрушками — старыми-добрыми, еще из абрикосовки — стеклянный пионер, красноармеец, авиатор в шлеме на самолетике, еловые шишки, заяц в воротнике Пьеро, белочка, цепеллин с надписью СССР, ватный лыжник, Нильс, летящий верхом на гусе, лыжник из папье-маше, картонный верблюд. А главное, гирлянда огоньков и шары в серебре, они меня завораживали в детстве.

— Ой, Раечка, — восхищалась Соня, — если б ты видела, какие наступили времена в смысле елочных игрушек! Мы в ГУМ зашли с папой — а там и три мушкетера в обнимку, король Людовик Четырнадцатый, маска Тутанхамона — по несколько таких вот диковин в коробке, дорогие — ужасно. Это тебе не орешки, сосульки и колокольчики.

Для встречи Нового года у нее уже были наготове два салата: один — оливье, другой — «коктейль с морскими гадами».

— А ты что делаешь? — спрашивала Соня.

Да ничего. Не надо никуда бежать, суетиться, о чем-то договариваться... Я просто сижу и думаю: как прекрасна жизнь, когда понимаешь в ней толк.

— Вот так и надо начинать новый год — с горящим на верхушке мачты фонарем в шторм! — тостировал отец Абрикосов. — Вы только представьте: миллионы лет живет на земле человек, и по сей день проявлена ничтожнейшая толика его способностей! Тебе, Райка, следует воплотить свое полнолуние и прожить жизнь, для которой тебя предназначила судьба. Тебе, Фёдор, необязательно измерять саму стопу, мучаясь с линейкой, чтобы определить метраж тоннелей и глубину провалов своими частями тела. Достаточно замерить расстояние между запястьем и локтевым сгибом: оно будет равно длине твоей ступни. Об этом в своих трудах писал еще Леонардо да Винчи, когда работал над «Витрувианским человеком». Тебе, Сонька, пора на пенсию, хватит бегать по вызовам высунув язык, пора и честь знать. Тебе, Павел, в новом году купим новый аквариум...

— Ура!!! — обрадовался Пашка. — А то я посадил макропода к петуху, а тот стал такой Тристан-отшельник, набросился на макропода — сразу началась крутая разборка. И хотя там находился сачок, а они все испытывают благоговейный трепет перед сачком, петух ни на что не посмотрел, и, если бы я макропода скорей не забрал обратно, он просто бы его загрыз!

— Девочку ему надо, твоему петуху, — заметил умудренный жизнью Фёдор.

— Он сам девушка, — отвечал Павел.

А пока мои пили чай, ели торт и говорили о том, как устроен мир, я позвонила Флавию поздравить с Новым годом. Всегда я звоню в подобных случаях, даже в свой день рождения, не хочется ставить его в неудобное положение, что он мне не позвонил — не поздравил.

Подошла Ивета.

— Господи! — воскликнула она. — У нас был такой хороший год. Пусть новый год будет еще лучше!

— Что?! — услышала я крик Флавия. — Скажи спасибо и втайне помолись, чтобы следующий год не был хуже! Как ты смеешь, неблагодарная, требовать у Бога все новых и новых благ?!!

— Жопе слово не давали, — отмахнулась Ивета. — Слушай, Рай, я сварила холодец — положила на тарелочки, салатик всем разложила, собираемся обедать. Вдруг звонок — приходит соседка — с Новым годом — приносит плетёночку, в ней три конфетки (она у меня иногда деньги занимает, выпивает немного). Я: «Спасибо, спасибо, вот вам кексик абрикосовый». Она: «Ну, нет, я кексик не люблю. Можно мне вместо кекса кусочек холодца?» А я ей говорю: «Почему вместо, вот я тебе его в фольгу заверну». А она отвечает: «Не надо заворачивать, я его сейчас съем». Потом пожаловала Марина Александровна — старушка, она была главным режиссером театра Моссовета. Туркевич ее фамилия, еврейка, хорошая такая женщина, все стены у нее заклеены фотографиями артистов. «Ой, — она мне жаловалась, — не могу прийти на похороны Миши Ульянова, — все переживала. — Мне так неудобно, возьмите мне в магазине творожка? Там одна женщина приносит — домашний. Вот и будет что-нибудь покушать...» Я это когда слышу, сразу говорю: «Марина Александровна, вы не стесняйтесь, только скажите, я вам схожу и все куплю». «Ну, мне очень

неудобно...» — она все время повторяет. А ей восемьдесят восемь лет! Представляешь? Куда ж она? Так вот заходит и показывает мне четыре платка: душа моя, выбирайте! Я говорю: «Марина Александровна, у меня этих платков — завались и больше! Не знаю, куда девать». Она: «Нет-нет, вы меня так выручаете, пожалуйста, выберите, а то вы меня обидите». Ну, я один взяла и говорю ей: «Будете салатик и кусочек холодца?» Она отвечает: «Большой радости вы мне даже не могли доставить!» «А помайонезить?» — «Сделайте, как вы считаете нужным...» Она интеллигентная, главный режиссер, понимаешь? Туркевич! У нее артисты раньше собирались. Теперь забыли, конечно! Восемьдесят восемь лет! Вот так, Рай, я тебе кусочек оставлю, не сомневайся. А капустку сделать тебе? Клюковка понравилась? Папе привет передай, с Новым годом, здоровья, счастья, мамочку капустой угостила? Ты их не обижай! Ну, здоровья, счастья, работа-то есть у вас с Флавиком? Целую, с Новым годом!

И передала трубку Шимановской.

— Рая, — сказала Агнес, — у нас в Третьяковке собирают выставку нонконформистов, твой Золотник ведь не был конформистом? И «нон» тоже не был, как я понимаю, нигде не засветился. Как раз им нужны такие маргиналы, чтобы оттенить знаменитостей. Я посоветовала куратору, он говорит: пускай принесет, посмотрим. Уверена, его возьмут, единственное, могут испугаться, что он лучше гениев подпольных. Выбери парочку, из тех небесных существ, разнофигурные, с жемчужными отливами.

— Благодарю вас, — ответила я, не вдаваясь в подробности, зачем ей морочить голову в новогоднюю ночь? Вован привезет картины, куда скажет Бубенец, в его интересах пожинать лавры дяди и умножать свои доходы.

— Я все-таки склоняюсь к мысли, — добавила Агнес, — что его творчество каким-то боком касается Послания Павла к Коринфянам, ибо сказано: «Никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, — каждого дело обнаружится, ибо в огне открывается, каково оно есть. И огонь испытывает дело каждого...»

Эхо нашей беседы разносилось по всей квартире. Так что моя семья с интересом прислушивалась к этому разговору. Пашка, перед тем как заснуть, даже спросил у Абрикосыча:

— Дед, а Христос — был кто? Бог или человек?

— Твой вопрос не так прост, — начал обстоятельно Альберт Вениаминович. — Он требует всестороннего рассмотрения, поскольку является краеугольным камнем христианства и вообще всех религий. С таким же точно успехом можно спросить: дед, а фотон — волна или элементарная частица? Хочешь верь, хочешь не верь, — это зависит от того, кто на него смотрит! Один и тот же фотон тебе, Павел, покажется волной, а мне продемонстрирует незываемые свойства элементарной частицы. Каков же он, когда ни ты, ни я не обращаем на него внимания? Един в двух лицах, частица и волна — в одном флаконе...

Альберт Вениаминович вдохновенно излагал Пашке квантовую теорию. Увидев, что внук уснул, Абрикосов улыбнулся, вышел из комнаты и прикрыл за собой дверь, оставив ребенка наедине со сторонами света — Югом, Востоком, Западом, Севером, Надиром и Зенитом.

Под утро Нового года, когда человек принимается заново творить свою историю, мне приснилась наша квартира, только пол земляной с серебристой ковыль-травой. Дверь к Илье Матвейчу приоткрыта, он в глубине комнаты: нарядный в кепке — поставил на мольберт свежий холст и карандашиком набрасывает силуэты, а сам сияет и слегка просвечивает, он меня даже напугал, мне показалось, что это какой-то инопланетянин.

- Рай, — говорит, — у тебя скоро день рождения, хочу тебе картину подарить.
- Только вы поскорей, — говорю. — А то мы уезжаем.
- К твоему возвращению, — сказал он, — точно будет готова.
- Я совсем уезжаю, — сказала я. — Навсегда.
- Напишу и поставлю на антресоли, — он продолжал. — Будет тебя ждать.

Тут какой-то ветер пронесся по коридору, всколыхнул траву. И я проснулась.

Проводив Павлика на елку, я возвращалась домой. В утренних сумерках гасли фонари, небо опоясывали белые радуги, снег скрипел под ногами, близкое уносилось вдаль, а то, что казалось у черта на куличках, — вот оно, только руку протяни. Город уже вырисовывался во мгле, но пока сливался с небом и, едва проступив, расплылся в воздухе. Рыхло написанные облака, легкие мазки солнечных бликов по контрасту с глубокими синими тенями на земле придавали пейзажу ту зыбкую слоистость, которой Золотник утверждал иллюзорность бытия.

Года три назад он вдруг позвонил. Подошел Абрикосов.

— У меня вообще к телефону идиосинкразия, — произнес Илья Матвейч, не размениваясь на приветствия. — Годами никому не звоню. Даже десятилетиями. Жду, что мне кто-нибудь позвонит. Но — нет. И вот решил всех обзвонить.

— А ты не боишься, что все уже умерли? — спросил отец.

— Нет. Я должен умереть первее всех, — сказал Илья Матвейч. — Как моя тетка Нюся чуть не столетняя, всё хочет умереть. А я ей говорю: не смей. Во-первых, мне тебя не на что хоронить. Сейчас на это надо полтора миллиона, не меньше, а у меня пока только шестьсот.

— Как ты живешь, Илья? — спросил Абрикосов.

— Меня уже нет, — ответил Золотник.

Никто не в состоянии прочесть тайный свиток судьбы, для каждого он написан особым почерком. Исследование моей непутевой головы показало явное увеличение височной доли и хвостатого ядра, отчего у меня такая цепкая память. Не то что слету удалось бы выучить словарь Брокгауза и Эфрона, но, когда я ложусь и закрываю глаза, передо мной проплывают людские толпы, которые двигались мне навстречу, пока я спускалась по Тверской — по Каменному мосту, по Ордынке... Образы повторяются или воскресают во всех подробностях, краски, запахи и звуки вспыхивают и тут же улетучиваются.

Следом начинают оживать, шуметь и куролесить прожитые Землей минуты, дни, века и тысячелетия, ты прикасаешься к этой мистрии в центре вращающихся миров, — и тут уж не до сна. Тут можно и, того, слететь с катушек.

Кстати, Илья Матвейч помнил, как появился на свет. Как его мама кормила грудью, и грудь помнил, и молоко. Она: «Не может быть!» Потом ее осенило: когда Иле было четыре года, он зашел в комнату, где ее сестра Нюся кормила дочку и брызнула в него молоком.

— У тебя все лицо было в молоке...

— А я и это отлично помню, — говорил Золотник, ленивый и теплый, в семейных трусах, с папироской в зубах, влипая кисточкой в мольберт.

Когда его одолевала хандра, Илья Матвейч сутками простаивал у открытого окна.

— Вот я смотрю в окно, — он говорил — себе, а может, мне, бессменному часовому, маячившему на пороге, — и читаю: «Продукты, продукты, продукты...»

Такие картины — словно старые фотографии, все на них сметено временем и при этом откуда-то сбоку проливается нестерпимый свет, вновь возносятся ввысь фасады, вонзаются в облака шпили. Ты уже начинаешь сомневаться, что жил там, где ты жил, в этом странном доме, пустившем корни, ветви его колышутся от ветра, на чердаке шелестит листва, над крышей, где Золотник собирал синь небес, распевают птицы. Ты оказываешься за гранью бытия и спрашиваешь себя: неужели все это было на самом деле?

Я живу, как Пифия, вдыхающая дельфийские пары и жующая листья лавра, — грудь разрывается от пыла и влечения, в горле клокочет песня, — каждый раз как последняя, глаза горят, если я попытаюсь сдержаться, я просто лопну...

Мать моя Соня характеризует это состояние как обсессивное мозговое расстройство. Поэтому мне постоянно приходится читать что-то отрезвляющее и внимательно смотреть, что ум делает с другими неуравновешенными людьми.

Ибо с того момента, как приборы зафиксировали у меня в извилинах чуть не на пятьсот процентов больше всплесков радости, чем у нормального человека, жизнь представлялась мне беспроектной лотерей, я могла вытащить все что угодно: принца Монако, путешествие, о котором можно только мечтать, или вечность, когда люди, вещи и события приобретают божественное свойство никуда не исчезать.

Я взбежала по ступенькам, стряхнула снег, вошла в квартиру и обнаружила, что у нас гости. В столь ранний час за столом сидела святая троица: Фёдор, Флавий и Бубенцов. Они смотрели на меня и молчали, а на столе у них стояла бутылка виски.

Федька-то ладно, с Бубенцом, но чтобы поднять ни свет ни заря Флавия и перенести ко мне через неодолимые горы и долины — это уж совсем медведь в берлоге слдох.

Они так на меня уставились, черти, я даже испугалась.

— Рай, — сказал Бубенец. — Ты только не волнуйся... У меня для тебя одна хорошая новость, другая плохая. С какой начинать?

— С хорошей, — ответила я малодушно.

— Вчера пришли деньги из Лондона, держи! — Он протянул мне конверт. — Отличное начало, что совсем неожиданно для никому неизвестного творца! Аукциону двадцать процентов, четверть взял следопыт Чарли — перевозка, такси, пятое-десятое... Твоя доля от продажи — восьмушка. А этому долбоклюву — ни пфенинга. Тоже мне, родственничек!

— Но... — говорю.

— ...Но это и конец, — вздохнул он, — потому что теперь плохая новость.

— Стоп! Нельзя же так — с бухты-барахты. — Федька налил виски и протянул мне стакан. — Рай, ты сделала все, что могла. Даже больше. Причем намного. Но жизнь такая штука...

— ...Где все бегают туда-сюда в полной уверенности, что существуют. И это самая большая глупость, какую можно вообразить! — вступил в разговор Флавий. — Рай, ты знаешь мое глубочайшее равнодушие ко всему, что не касается меня самого или кто выиграл в теннис — Мария Шарапова или Серена Уильямс, но тут даже я тебе соболезнаю. Давай, Бубенец, не томи.

— Я позвонил Володьке, — решительно начал Бубенцов, — узнать, как его наследие? В первых числах мне на голову свалился фанат русского авангарда из Новой Зеландии. А Вова не берет. Звоню во все колокола, пишу: дело на миллион!!! Насилу отозвался. Владимир, говорю, давай дядю продвигать. Покупатель хочет глянуть на картины. А тот сопит, как барсук, и что-то невнятное бормочет. Я: старик, ты артикулируй четче! А он: послушай-ка, брат, — и голос у него сиплый и надломленный, — ...сгорело всё у меня. Всё сгорело.

Бубенец выдержал паузу и добавил:

— Такова судьба гениев. Как говорил Роден: «Художник должен высечь искру и сгореть в пламени своих творений», за что я и предлагаю выпить.

Что я почувствовала? Сама не знаю. Головокружение какое-то. Глядь, я уже под потолком, вижу три макушки, столешницу, горлышко бутылки... И никчемные вопросы оранжевым снопом искр сыпались от моего избыточного хвостатого ядра: как? Почему? Неужели — ВСЁ?

Форточка была открыта, и меня потянуло в эту форточку. Федька еле успел ее

захлопнуть. А Флавий, встревоженный, приложил ухо к моей груди, чтобы услышать стук сердца и слабое дыхание: как добрый знак того, что я еще смогу восстановить из пепла — уж если не полотна, то хотя бы память о великом живописце, добром соседе и наставнике, дабы он не исчез среди звезд и не покрывлся пеленой забвения.

Вот оно какое оказалось еврейское Вовкино счастье, божий перст, проделки небесной канцелярии: в Мытищах, в развалюхе на отлете, куда мой друг свез картины художника Золотника, в новогоднюю ночь случился пожар, и склад сгорел со всеми потрохами.

— Ну, мы с ним встретились в рюмочной как мужик с мужиком, — излагал Бубенцов. — Я ему говорю: Вольдемар, какого хрена ты все отобрал у Райки? Оставил бы парочку на развод. «А зачем она все отдала?! — он спрашивает на голубом глазу. — Спрятала бы что-нибудь, заначила... Райке дядечка тоже не чужой, вечно путалась у него под ногами». Ну, я не стал развивать эту тему, гну свое: ты поехал домой! почему холсты оказались в Мытищах?

— Думал, дело пойдет как по маслу, — говорит. — Но жена встала на дыбы. Она дантист, любит чистоту и порядок, хотя много лет я терплю ее амазонского попугая в свободном полете. Знаешь, как это противно, когда попугай, хлопая крыльями — кругом пух, перо! подлетает и садится к тебе на плечо?

— Куда ты это старье волочешь?! — она — Вове. — Там яйца тараканов за деревяшками!

А Вова:

— Какие такие яйца, о чем ты? Это наше культурное наследие, Надя, мы будем им приторговывать, умножать капитал, поскольку имеем на него законные юридические права! Кстати, нам скоро деньги пришлют из Лондона, когда англичанам переведет японский воротила!

И достает из кармана газету: «Искусство продается, родина никогда!» Но даже столь веский аргумент не возымел на супругу никакого действия.

— Ах, из Лондона! Японский воротила!! За сумасшедшего дядьку!!!

Пришлось Вове сматывать удочки. Обратился к друзьям — они склад держали в Мытищах: Вован, не вопрос, найдется для тебя уголок...

— Вот он и привез, карась мытищинский! — сказал Бубенец.

В ангаре холодно, сквозило, металлические стены кое-где разошлись, но сверху не капало. Сторож Нурик, тихий узбек, поселился в ангаре — выгородил себе закуток с лежанкой, молитвенным ковриком и вместительным казаном. Когда приезжали хозяева, он готовил отменный плов на электроплитке, а в холодные зимние вечера использовал ее как обогреватель. Антикварная плитка с открытой спиралью, сто лет в обед, ее следовало сдать в утиль, да пока гром не грянет, узбек тоже не станет Аллаху поклоны бить.

Это и сыграло роковую роль в новогоднюю ночь — плитка перегрелась, полыхнула огнем, Нурик успел выскочить из своего закутка, и пока метался туда-сюда, звонил пожарным, огонь добрался до мешков с неизвестным содержимым.

На беду, в мешках были остатки новогодней пиротехники — бенгальские огни, хлопушки, салюты с белым и цветным пламенем, фонтаны и ракеты, римские свечи, петарды и фейерверки, от которых лучше держаться поодаль, прикрыв ладонями глаза, и просто ждать, когда догорит последняя хлопушка.

Поэтому примчавшиеся пожарные стали свидетелями, как единственное окно ангара озарялось разноцветными всполохами, оранжевыми, фиолетовыми, зелеными мазками, будто за ним стоял гениальный живописец с огненными кистями и писал какую-то феерическую картину, смешивая краски.

Потом стекла лопнули, и на свободу вырвались снопы искр, иногда из проема

вылетали ракеты, падали в снег и с шипением гасли. Почти час длилось это светопреставление.

Володе позвонили в пять утра, он вскочил, заметался: вдруг еще что-то можно спасти... Но ангар стоял пустой и страшный, как Рейхстаг в мае сорок пятого. Он прошел внутрь по угольной земле и пепелищу, обходя лужи, куски металлических перегородок, балансируя на обгоревших балках.

Прямо перед ним возникли голые железные прямоугольники, там еще вчера лежали доски, а на них, выстроившись в ряд, ожидали своей участи полотна, которые холодными январями и знойными июлями писал художник Илья Золотник.

Землю устилал серый пепел, чернели головешки. Вова взял металлический прут и стал копать в золе, но, кроме гвоздей и пустой консервной банки, ничего не нашел. Руки стали черными, ботинки покрылись толстым слоем сажи.

«Сажа газовая, сажа газовая...» — вспомнил Вовка. Это дядя Иля называл ему имена красок. Он стоял у мольберта, а Володька рядом перебирал холодные увесистые тюбики.

— Это кадмий оранжевый, это охра, это церулеум, это — кобальт голубой, им можно написать небо, а это белила — для облаков, и не только, для всего они годятся, — говорил Илья Матвееч. — А это — сажа газовая, я ее не люблю, мазнешь чуток — пропадет прозрачность, свет уйдет, мазнешь погуще — пиши пропало!

Сажа всколыхнулась от порыва ветра, закружила вокруг, в глазах потемнело, небо стало грязным, тяжело навалилось на плечи. Зато в сквозящем на все четыре стороны обгорелом каркасе, цепляясь за столбы и стропила, открылись в точности такие же пейзажи, какие рисовал дядя Иля. Они как будто излучались в мир — волна за волной.

Вдруг запахло картошкой в мундире, которую они однажды запекли во дворе с Абрикосовой, за что им влетело по первое число, мамиными запеченными яблоками, дымом дядечкиных папирос, пережаренными котлетами Берты и Зинулиной гречкой «с дымком», эти родные горелые запахи вспомнились Вовке. И еще почему-то — как его Райка на свой день рождения угощала арбузом, сахарным, с черными косточками. Они, Абрикосовы, жили как будто в особом сияющем мире, где всегда стоит елка, то на ней ягоды, то яблоки, то новогодние игрушки.

«Прости меня, Иля, накосычил твой Вовка, семь бед один ответ...» — сказал он и побрел не оборачиваясь, с сокрушенным сердцем, по угольной земле, выбрался наружу, отряхивая брюки.

— Я ему твержу, что он баклан, — уже основательно бухой рассказывал Бубенец. — Думаешь, он спорил? Соглашался. «Я вообще-то предприимчивый, — говорил, — но невезучий, больше того, я тебе как другу скажу: я — хронический неудачник. Все у меня, Бубенец, через пень колоду! В кои-то веки счастье привалило. Подумал, если так пойдет, — сколько же я заработаю на дядькиных картинах! Но от судьбы не уйдешь, не уберег сокровища...» И он заплакал. Представляешь?

— Кстати, — сказал Бубенец и закурил. — Вольдемар после этого случая разошелся с Надеждой. У него есть женщина, африканка, преподает в Университете Патриса Лумумбы зулусский язык, сразу после пожара он сделал ей предложение.

Сохрани своим немерцающим светом, Царица Преплагающая, сырых и странных заступница, ничего не осталось на свете, что бы напоминало миру о художнике Золотнике, кроме сорвавшихся со стены «баклажанов», купленных шальным уроженцем Хоккайдо и увезенных с неведомой целью в Страну Восходящего Солнца.

— Ну и что? Жил человек, занимался любимым делом, — говорил Флавий. — Даже в тюрьме не сидел ни разу, только в желтом доме. Люди живут без имени, без памяти, проживают на земле свое время и улетают, не оставляя следов. Просто быть, вдыхать и выдыхать через открытое сердце — этого достаточно.

Отец Абрикосов тоже пытался умиротворить ситуацию, хотя был вне себя от ярости. Он так радовался, что нам с Фedyкой удалось спасти картины, да еще каким-то чудом Илюша прогремел на аукционе в Лондоне, — теперь он рвал и метал, что все это оборотилось в пепел!

Но Абрикосов не был бы Абрикосовым, если не взглянул бы на ситуацию с космических высот и не продемонстрировал фирменного философского к ней отношения.

— Что есть крошечная углеродная форма жизни — человек — и махонький отрезок времени — наша жизнь, в сравнении с ВРЕМЕНЕМ! — размышлял папочка, пытаюсь меня окрылить и ободрить. — Всякое разрушение — основа созидания. Если бы не умирали солнца, у нас бы не было жизни на Земле. В общем, одно из двух, — говорил он, — или все вокруг превратится в пепел и развеется по Вселенной, или снова произойдет Большое Сжатие, а потом Большой Взрыв, проживем — увидим! Непокосим же, за исключением закона Золотника, один только принцип Тетриса, который гласит: все совершенное сгорает.

Ладно, я затеяла в квартире перестановку. Соня моя всю жизнь передвигала мебель туда-сюда. У ней прямо бзик был — где стол стоял, там царит диван, где был буфет — стали лагерем кресло-качалка и телевизор, необъятный стеллаж они с Абрикосовым только так переволакивали от стенки к стенке. Сонечка объясняла свое безумие тем, что перестановка ей освежала пространство и прогоняла тоску-печаль.

Неудивительно, что я пустилась по этому призрачному пути: вертела письменный стол и так и сяк — раньше он боком стоял к окну, а я развернула лицом: а что? Сяду и буду смотреть, как шевелятся в окне деревья. Зато шкаф полупустой, который нам приглянулся когда-то своею бесприютностью и безысходностью, отправился к противоположной стенке.

Только он тронулся в путь, как из-за него выпал подрамник, затянутый белым холстом, шестьдесят на сорок, с легким карандашным эскизом. Видимо, Илья Матвейч собрался написать новую картину и уже нанес едва различимые линии... А мы впопыхах сунули его за шкаф, и он пылился там, ожидая своего часа.

Я ощутила мягкое реликтовое излучение, которое всегда возникало от первого прикосновения Ильи Матвейча к белому холсту, по ходу дела усиливаясь, пока не заливало художника ликующим светом до такой степени, что тот не выдерживал, прятался в гардероб и там сидел, зажмурившись, так уставали его глаза от белизны и прозрачности и от неразличимой близости цветов, которые он смешивал на своей палитре.

Вдруг мне показалось, что картина уже написана, и эти образы, что он собирался запечатлеть, отразились на холсте, как мираж. Стоит подправить вот тут и там, и готово: бескрайняя кромка вдоль сияющих вод раздвигала горизонт, знакомые сущности спиралью закручивались в голубую сферу, и эти нагроможденья без имен и форм покачивало из бывшего в будущее и обратно, а в них, вокруг и над ними происходило что-то, чего Илья Матвейч не мог объяснить, он и сам не понимал.

Глубокая синева накрыла меня, живая и наполненная. Одна вытянутая фигура приблизилась ко мне и указала на холст, в руке ее была колонковая острая кисть, я так поняла, вроде бы она велит дописать картину.

Я говорю:

— Ты что, какой из меня живописец, я и писатель-то никудышный, а тут — картину, в своем ли ты уме, фигура?

А она тычет кистью в мое сердце, проткнула мне грудную клетку и кисточкой по сердцу водит, как будто пишет на нем что-то.

Я трезво смотрю на галлюцинацию, как на галлюцинацию, но все-таки достала из сумки палитру со следами красок, высохших, но ярких. Нашла его любимые тюбики с оттенками лиловых сумерек, пламени, песка и океана. Что удивительно, крышки

легко открылись, я выдавила понемногу на палитру, а рядом посадила медведя — ведь он всю жизнь прожил с Золотником, наблюдал, как тот из ничего сотворяет миры.

Льняное масло и маленько скипидара (вот, кстати, баночка!), размешиваем, взбалтываем, добавляем в краску... Начнем, и станет ясной вся нелепость этой затеи!

Волнующий запах скипидара и масляных красок ударил в меня и распространился по дому. Сначала кисточка двигалась прерывисто и скованно, неискушенная рука медленно и аккуратно охрой закрашивала силуэты, намеченные карандашом.

— Когда ты согласишься вон на ту березу, — я вспомнила, он говорил, — ты видишь дерево с обратной стороны? Изнанку листьев? А другую сторону луны? Добавь прозрачности в тени! Мир никакой не плотный, понимаешь? И все пронизывает свет. Свет движется волнами и ложится слой за слоем. Свет в голове преобразуется и превращается в пигмент. А мы, художники, имеем дело с красками, — он говорил, — но цветом, Райка, — мы показываем свет!

Что-то давно забытое стало оживать во мне, вокруг силуэтов я нанесла осторожно немного белил с каплей церулиума, фигуры закрасила аквамаарином, кобальтом, прошла по очертаниям охрой с белилами, отчего силуэты погасли, стали почти невидимы. Но стоило покрыть их желтой охрой и английской красной, они вновь воссияли, выделяясь в пространстве светом, но не цветом.

Пружина разжалась, чтобы свести универсум к двум измерениям холста. Все решалось по отношению к Небу. Как сумасшедшая я покрывала холст тысячей мазков — с размашистых и скользящих переходя на мелкие, густо положенные, так и не достигая тех, которые год за годом с невероятной легкостью художник Золотник выводил в своем воображении.

Кроме того, я боялась сбиться с темпа.

Яркость я набирала наощупь, сама картина диктовала мне, какой цвет взять и куда положить. Я запела! Но это не было пением в привычном смысле, скорее странствием от самых высоких октав до утробного рычания, когда звук — всеохватывающая пустота, где вселенная плавает облаком в синем небе.

Так продолжалось, пока дневной свет не растаял в сумерках, как кубик сахара, и прямоугольник холста померк, отодвигаясь от меня, погружаясь в прошлое, а старый медведь одобрительно произнес:

— Всё, останавливай, картина готова. Мой кисти, чисти палитру, иди ложись спать. Ты справилась. Больше не подходи.

Николеямской тупик, загроможденный сваленным отовсюду снегом, грелся на солнце, близилась весна, пока без грачей, но с колокольнями в ультрамариновом небе.

От водосточной трубы первое окно, откуда я учила Вовку плевать из трубочек жеваной промокашкой, и мы с ним плечом к плечу бросали на головы проходим «бомбочки» — шарики с водой, а потом быстро прятались, боялись высунуть нос, — было завешено серой портьерой.

Из-под арки выглянула руина соседнего дома, целиком сохранилась единственная стена, в пустых рамах окон росли деревья. Там на балконе когда-то по утрам тягал гантели молодой человек, потом борода его поседела, я обнаружила его уже с тростью и в берете. Прихрамывая, он выносил на прогулку во двор кадку с розой, ставил ее на скамью, беседовал с ней, опрыскивал водой из пульверизатора. Она ему, видимо, что-то отвечала.

Мелочи жизни, которые с детства привлекали меня. Ухватишь за кончик нитку, торчащую из клубка, потянешь, и вот уж разматывается клубок... Ты просто придумал, вообразил, а вдруг оказывается, что именно так и было, — то ли потому, что жизнь материализуется из нашей фантазии, то ли оттого, что, глядя на человека, мы читаем книгу судьбы, и нет уже ни секретов, ни тайн, ведь если смотреть в корень — так мало вариантов, разве что в пустяках.

Возле подъезда пришлось подождать: парадный вход обзавелся секретным кодом. Вскоре вышла девочка, у нее на плече сидела живая сова и вертела головой, высматривая добычу.

Я поднялась и позвонила в дверь. Открыла мне старушка Пелагея, я ее напрочь позабыла, но она позволила мне войти, сказала, что живет здесь с сорок восьмого года и прекрасно помнит нашу семью, особенно Софочку, врачиху, та лечила ее от радикулита.

— А твоя бабка-покойница знатный варила холодец из свиных ножек, — весело сказала Поля. — Сколько раз я ей говорила: добавь индюшатины, будет понажористей! Нет, только луковицу бросит в шелухе, две петрушки и лаврушку с сельдерюшкой!

Мы сели на кухне и давай гонять чай с моим зефиром в шоколаде. Я озиралась, словно давешняя сова, узнавая и не узнавая некогда kloкочущее жерло этого уснувшего вулкана. Кухня опустела, куда-то улетучились запахи горячих блинов, квашеной капусты, гречки, жареного лука с морковкой, кислых щей, кипяченого белья...

Полю норовили выселить на окраину, забабыхать евроремонт и открыть в нашей квартире турфирму, но она не сдавала позиций, вела партизанскую борьбу, представлялась ветераном Отечественной войны, добиралась до высших инстанций, качала права.

— Да никакой вы не ветеран войны! — заявили ей прямым текстом.

— Как?! — удивлялась. — Я же траншеи копала, окопы рыла!

— Это не считается, — ответила строгая начальница.

— Нет? Не считается? ...А так комары кусались! — сказала ей Поля с виноватой улыбкой.

Но из квартиры не выезжала, держала оборону.

Я стала бродить по абрикосовке, куда привел меня вещий сон, и всюду мерещились мне призраки моих соседей, тени забытых предков следовали за мной по опустевшим комнатам, клетушкам и каморкам, по коридору, увешанному когда-то лыжами, корытами и тазами, и где по-прежнему высился незыблемой скалой над морем, великий и ужасный гардероб.

Меня ведь все любили, и мама меня любила, и папа любил, и дедушки с бабушками души во мне не чаяли, плюс уйма тетушек, дядьёв, двоюродных, троюродных, четвероюродных сородичей, и все они с того конца Москвы перлись к нам в гости с гитарой — попеть-погулять, сдвинуть рюмки, — со своей кастрюлей селедки под шубой...

Однажды эту кастрюлю тетки оставили на автобусной остановке, заболтались и забыли на скамейке! Потом спохватились, долго ехали обратно, и — что удивительно, селедка под шубой так и стояла, никто на нее не покусился.

Это казалось навечно установившимся бытием. А теперь все осыпалось, рушилось, протекало, валялось без призора. Я не удивилась бы, если под ногами у меня действительно колыхалась ковыль-трава, а себя обнаружила бы я на тихом берегу Нила в лунном свете, внимающей арфе, со взором, устремленным в пустоту меж Сатурном и неподвижными звездами.

— Художника-то вспоминаешь? Илюшу? Еще у него винтика в голове не хватало? — И Поля махнула рукой на комнату, откуда в осеннюю пору сердечный приступ похитил ее хозяина.

Из-под двери лился голубоватый свет, все оставалось зыбким, неопределенным, и слышался шелест голосов под приглушенные гаммы пианино.

Старое и раздолбанное, оно долго стояло в коридоре, все на нем играли кто во что горазд. Потом вынесли на улицу, там его разломали соседские дети, вырвали клавиши, струны, и оно пропало.

— А ты чего пришла-то? — спросила Поля, когда я засобиралась домой.

— Да вот, соскучилась по родным местам.

— Это я понимаю. Сама скучаю по Шпицбергену. Хотя там погодка, скажу я тебе...

— Я забегу на дорожку? — говорю.

О, неизменный антураж старинной московской уборной со ржавой вспотевшей трубой и чугунным бачком, венчающим собой историческое сооружение, *сработанное еще рабами Рима*. О, металлическая цепочка, потускневшая от времени, но все еще поблескивающая в лучах голой лампочки без всякого плафона, берущая начало от могучего рычага, который еще немного и перевернет этот мир, с ее до боли знакомой фаянсовой белой ручкой, свисающей над унитазом! А вдрызг исшарканный, там-сям отбитый кафель на полу, облупленные стены, и, наконец, вместительная антресоль, где ковбой Гарри как зеницу ока берег уйму кирзовых лыжных башмаков, окантованных рантами, а что? Шерстяной носок натянул и вперед!

Целую вечность никто не открывал эти дверцы, не заглядывал в ее темные своды, с незапамятных времен пылились там откипевший чайник, отгоревший уют, обгрызенный веник, лыжный ботинок на шнурке с подошвой из твердой резины с тремя дырочками под носком, замусоленные учебники для начальных классов, стопка журналов «Работница», ватный Дед Мороз в полиэтиленовом пакете...

И когда последняя надежда, которую я питала вопреки здравому смыслу, готова была растаять, на верхней полке, где скучали эмалированный бидон с цветочками на боку и трехлитровые банки, из-за куска линолеума и паркетных досок вдруг выглянул край подрамника, обитый холстом, аккуратно пришипленный на край рейки черными гвоздиками.

Я влезла на унитаз, потянувшись и осторожно, придерживая доски, вытащила подрамник.

«Три стороны камня» было написано на обороте тоненькой кисточкой — ламповой копотью. «Раечке Абрикосовой на память в день рождения».

— Моя Матильда корку отмочила, — говорил Федька, вернувшись из экспедиции к нашему с Павликом счастью. — Могу себе представить эту сцену! Стоит на унитазе Райка, страшно довольная, прижимая к груди последнее на этой Земле полотно великого мастера, размером шестьдесят на сорок, явившееся ей во сне!

Да, это была она: бескрайняя кромка вдоль сияющих вод, раздвинувшая горизонт. Сквозь толщу белого тумана смутно проступали крылатые фигуры, едва определяясь, но не выплывая до конца: ребус не должен быть разгадан! — любил говорить Золотник. Чудился только тихий подъем этих существ в высоту, лучащуюся в начале, середине и конце и не имеющую ни того, ни другого, ни третьего.

Издали она казалась сплошь пространством света, но, если присмотреться, этот свет разливался над холмами и водами, покрывал землю — плавными шажками, создавая неуловимый ритм.

Все перепуталось, смешалось, что это было: греза ли, реальность — я и сама не разберу.

Придется излагать, как запомнилось, пускай с пробелами, кто-кто, а ты, со своей ненормальной памятью, в мельчайших деталях восстановишь цепь событий. А что останется за бортом, восполнит твой беспечный ум, отстроив недостающие звенья, как он это обычно и делает.

Я даже не поручусь за то, что в одно апрельское утро к нам явился Флавий — с видом загадочно-торжественным вручил Фёдору «Камасутру», мне — «Кулинарию Вед» в твердом переплете, я ее открыла, я всегда сразу открываю книгу, если она попадает мне в руки, на любой странице и читаю навскидку пару фраз, иногда этого бывает достаточно, например, прошлым летом на скамейке в парке Царицыно кто-то оставил «Страсти души» Декарта.

«В нашем сердце, — там было сказано, — постоянно присутствует теплота — вид пламени. Это пламя и является материальным принципом движения наших членов. Первым действием этой теплоты является...»

Тут из кустов бузины, застегивая ширинку, вышел обладатель «Страстей души»,

ни слова не говоря, забрал своего Декарта и гордо удалился, поэтому сей перечень так и остался для меня загадкой. В отличие от «Кулинарии Вед», где я на всем скаку получила исчерпывающее наставление: «Пури, пресная лепешка, поджаривается на масле».

— Пришел проститься, — сказал Флавий. Коротко и ясно.

— То есть? — не понял Фёдор.

Он уже не мыслил нашей жизни без Флавия.

Я же давным-давно, возможно, с той самой минуты, когда он подошел ко мне стрелнуть сигарету и попросить огонька под лестницей в курилке, поняла, что кроме божественной встречи в этом мире нам еще предстоит бездонная разлука, увы, ей, видимо, наступила золотая пора. Ибо такие связи, как наша с Флавием, predeterminedенные на небесах, не могут оставаться вечными на этой земле, в какой-то момент они должны перекочевать к иным планам бытия.

— Я знал, я давно подозревал, что должен был родиться в более мягком климате, — сказал Флавий. — Читайте! — И протянул нам письмо, начертанное каллиграфическим почерком золотыми латинскими буквами с круглыми верхушками, которое принес ему почтальон, велел расписаться и вручил лично в руки крафтовый конверт с маркой ужасающе далеких и несбыточных стран, за которую мы бы с Вовкой в детстве не раздумывая продали бы душу хоть ангелу, хоть черту лысому, из какого-то, мать честная, королевства Челбахеб.

На обратной стороне конверта — сургучная печать с узкой ленточкой. И таким оно прибыло потрепанным, будто послание Флавию из Челбахеба пересекло на джонке бушующий океан, потом по горам, по долам, по разьеженным колеям неслось на почтовом дилижансе, мчало сквозь выюгу на тройке с бубенцами, или его всю дорогу нес в клюве почтовый голубь, я не знаю. Вид у всего этого был довольно допотопный.

— Там у них, в Челбахебе, умер король, — доверительно сообщил мой друг. — А преемника не оставил. Они проследили генеалогическое древо и поняли, что во главе Челбахеба должен стоять крутой пацан вроде меня.

— Разве реально существует такое местечко? — удивился Фёдор. — А это не что-то вроде Лисса с Зурбаганом?

— Челбахеб — крошечное государство в Филиппинском море на острове Балбедаоб, такое же отсталое, как Россия, но меньше и добрее. Там очень добрые и наивные люди, бесконечно темные. Живут они бедно, но счастливо. У них есть гимн, герб и флаг, абсолютная свобода слова и космическая программа.

— Да ты им всю экономику развалишь! — воскликнул Фёдка. — На чем она у них зиждется?

— На птичьем помёте и минералах морского дна, — с гордостью произнес Флавий. — И правильно, я считаю, — рассуждал он, усаживаясь за стол, я ему налила кислых щей. — Не должно быть роста экономического, понимаете? Это ошибка, в погоне за наживой уходит качество, а из-за мусора и падения уровня жизни увеличивается нагрузка на окружающую среду. Вещи производят и выбрасывают, а люди несчастны. Челбахебяне же, — и он прислушался к новому всеобъемлющему слову, столь много говорящему его сердцу с недавних пор, — желают исключительно спасения души, надеясь на бога единого Нгирчалмкуука. ...И на меня.

— Так ты же ничего не умеешь, — удивлялся Фёдор.

— Почему? Я умею лежать, гулять и танцевать, этого достаточно для абсолютного монарха, — сказал Флавий. — В случае чего мне придет на помощь совет вождей. А нет — так буду сам колупаться! Главное, — добавил он, — что я не знаю их языка. И никогда не узнаю. Выучить его невозможно, у них нет письменности, а священные предания от поколения к поколению передаются барабанным боем.

— Зачем тебе все это нужно? — встревожился не на шутку Федя. — Туда небось оформляться — от одних прививок можно умереть. Ладно, я — стреляный воробей.

А ты, брат, соломинка на ветру, колосс на глиняных ногах, гигант исключительно духа...

— Пора валить отсюда, тухлое место — периферия, вся движуха в центре галактики, — убежденно говорил Флавий, налегая на щи. — Тонкое дело, конечно, — куда входить, куда не входить: сначала я как-то застремался, потом подумал: раз мне пришло приглашение, как я могу не ехать, вы соображаете? Ваня мой Колышкин отбыл на Кёльнщину, потому что в России не ценят его иероглифов на небе и на воде, Бубенец подался в Лос-Анджелес, решил основать музей в Силиконовой долине...

Видно было, что друг мой — на пороге большого выбора: если уж он решил перейти от созерцания к решительным действиям, то остановить его не могли никакие силы. А я гляжу на него с замиранием сердца, как будто мы только встретились, — и не могу наглядеться. Казалось, что взгляд его умиротворял Вселенную, а также способен был укрощать град и гром. Покой и блаженство исходили от него, как будто Флавий уже стоял у Престола и в руке держал ключ от Небес.

Лишь одно могло бы его остановить — балет «Сотворение мира». Но Голопогосов еще работал над партитурой.

— Я буду слушать шум океана, — сказала я. — Включу, закрою глаза, и мне будет казаться, что мы сидим с тобой рядом на берегу и смотрим вдаль.

— Только слушай Тихий, а не Атлантический, — озабоченно сказал Флавий. — А то все будет не то — другая плотность, другая соленость, — не перепутай.

— Что ж, — сказал Фёдор. — Пиши нам, звони. Кстати, узнай, какие там есть пещеры! Я к тебе наведаюсь.

— Я буду ждать тебя, как царь Соломон царицу Савскую, — ответил он Феде.

Мы обнялись, как родные братья, и Флавий крепко прижал меня на прощание к нагрудному карману с очками.

На майские праздники Соня отправила меня в Евпаторию. Решительно забрала деньги, которые принес Бубенцов от продажи «Юдифи и баклажана», папочка добавил, и совместными усилиями приобрели мне путевку в санаторий «Планета» — три звезды.

— Рае надо отдохнуть, — произнесла Соня тоном, не терпящим возражений, — к ужасу Фёдора, который задолбался со своим кадастром и как раз паковал рюкзак, намереваясь пуститься в очередное странствие.

Но Соня и слышать ничего не хотела.

— У Раечки усталый вид, — нагнетала она обстановку. — Эти ее непроизвольные взлеты и свечение головы в темноте — нельзя не придавать значения таким аномалиям!

— Полетает и вернется, — успокаивал тещу Фёдор, пытаясь увильнуть от роли оседлого домохозяина и отца-одиночки. — Никто тут ничего не имеет против Райкиного сияющего скворечника!

Федька врал. Его дико нервировало все, испускающее свет во мраке. Он обладал тончайшей чувствительностью к любым эманациям. В царстве Плутона беспробудная темень, а дома — и картины светятся, и голова на соседней подушке. В такой обстановке тревожные снятся сны, мелатонин ни хрена не вырабатывается, снижается концентрация внимания, и вообще можно стать лунатиком! Но Софа таки настояла на своем, несмотря на его отчаянную демонстрацию протеста.

В купе расположились мои попутчики: Гарник Гамлетович лет пятидесяти, с пузцом, бывший работник армянской железной дороги, служитель пищевой промышленности. Чей-то неясный контур на верхней полке — семьдесят девятого года рождения. И женщина по фамилии Родина, которая, не дожидаясь отправки поезда, с эпическим размахом раскинула перед нами полотно своей биографии в реальном времени.

Главным действующим лицом ее жестокого романса был муж — красавец-хохол, глаза во-от такие, голубые, как полтинники... При живой жене и сыновьях все ими

вместе нажитое он завещал своим сестрам-ехиднам, которые, стоило этому бедолаге покинуть земные пределы, ободрали Родину как липку: захватили автомобиль «Оку», оккупировали домик в деревне и оттяпали полквартиры в придачу с окнами во двор, правда, она мечтала, чтобы окна выходили на шоссе, поскольку шум машин ее не беспокоит, а вопли разных психов достают и даже очень. Прошлую ночь она вообще не спала.

До того наша Родина ожесточенно костерила своего героя, что я, не в силах вынести накала ее страстей, покинула купе. Хотя как инженеру человеческих душ мне стоило бы смиренно внимать рассказам о путях мирских. Ведь я совсем не знаю жизни: Флавий подтягивал мне за веревочку небо, Фёдор — хтонические глубины, а жизнь земная вечно ускользала от меня.

Эх, распадается наш симбиоз гриба и водоросли. Писателем трудно подзаработать, даже если отдаться всем сердцем писательскому ремеслу.

— Делаешь что-нибудь? — иногда спрашивал Флавий.

— Да, пишу одну штуку.

— О чем?

— Об одном человеке...

— ...Я понял! — Флавий целиком и полностью удовлетворялся этим ответом.

Но я всегда рассказывала ему о своих безрассудных идеях, он их называл «придумками антилопы». И благородно подбрасывал мне сюжетные повороты, когда я буксовала на финише.

Боюсь, мне теперь суждено до последних дней тянуть нескончаемую канитель, которая так и останется незавершенной. Вроде заветного предания нашей попутчицы: когда я вернулась в купе, отмахав немало верст и прошвырнувшись по платформе в Рязани, тема коварного завещания продолжала оставаться в первых строках таблоидов.

Однако терпеливых слушателей ожидала феерическая развязка. Оставшись при пиковом интересе, Родина дала себе клятву ни при каких обстоятельствах не выходить замуж за *хохла*. А год назад сошлась с одним мужчиной... Уже они задудели в одну дуду, дело покотилось к свадьбе. И вдруг выясняется, что его фамилия Порошенко!!!

Теперь она не знает: выходить за него или нет.

— А сколько вам лет? — поинтересовался Гарник.

— Шестьдесят пять, — скромно ответила Родина.

— У-у-у, — махнул он рукой, — рано. Замуж надо выходить в семьдесят, чтобы скорую помощь было кому вызвать.

Тут у него зазвонил телефон, это звонил аксакал Гамлет. Гарник встал и стоя разговаривал с папой, у него аж лоб вспотел.

— Папа, — говорил он взволнованно. — Я еду, в купе, соседи какие попались? Хорошие, все в порядке. Ты сам как? Папа, ты как? Давай я скайп включу, будем с тобой по скайпу переговариваться.

Наверно, хотел нам папу своего показать, какой он — в папахе барашковой, с тростью сидит на фоне Арарата.

— Так вы Гарик? — спросила Родина. Ей показалось, что его папа так ласково назвал.

— Я — Гарник!!! Гар-ник — запомните это имя! А никакой вам не Гарик.

— ...А то сейчас, — продолжала Родина, — все киргизы, узбеки, казахи — берут русские имена. Он там Ахмет какой-нибудь, а представляется Алексей.

— Я никогда такого не делал, — отвечивал гордый армянин. — У меня бизнес повсюду. Я пишевик. Занимаюсь кондитерскими изделиями. Стараюсь по-честному, но и мое тоже рыльце в пушку, что говорить о других отраслях??? В советское время у колбасы было двадцать составляющих, а сейчас в ней нет главного! Соки вообще пить нельзя, одна дребедень! А если вам доведется увидеть, чем кормят телят в рыбных хозяйствах, вы навсегда забудете дорогу в магазин!

Он сдвинул грозные брови, вышел из купе и лязгнул дверью.

Мы похолодели с попутчиком семьдесят девятого года рождения, так за весь путь и не вымолвившим ни слова.

А Родина — как ни в чем не бывало:

— Я так боялась ехать в поезде, вдруг попался бы пердун? Или пьяница, сидел бы пиво пил всю дорогу, в майке. Ну, этот вроде ничего, нормальный.

И все жалела, что мы будем с ней в разных санаториях. Я в «Планете», а она в «Мечте».

— Ты, Рая, не храпишь, только зря ночник не гасишь, — сказала она утром. — Какой сосед по комнате пропадает!

Солнце, цветущие сады, ну просто все цвело, что может и не может: каштаны, розовый миндаль, гранаты, родные бузина с боярышником, дружно взялась сирень около помойки пансионата. Под балконом айва на глазах распускала цветы, точь-в-точь яблоневые, но размер! Эх, не суждено мне увидеть, как эти гиганты превратятся в каменные плоды, из которых Иовета по осени варила любимое наше с Флавием айвовое варенье и всегда мне давала с собой в баночке из-под майонеза — угостить Пашку.

Море здесь потеплее, чем в других местах Крыма. Многие уже купались, но жаловались на обилие медуз. Медузам тоже нравилось теплое море.

— Их тут бывает оооочень много, — предупредила Родина. — Это даже не медузы. Это огромные скользкие жалящие арбузы.

Точнехонько в четыре двадцать утра, невзирая на погоду, за окном певчий дрозд выдавал свою начальную протяжно-звонкую флейту. Минут пять он солировал, а я уже предвкушала, как грянут каменки и трясогузки, жаворонки, коноплянки, пеночки-трешотки, зеленушки, камышовки, нет-нет и вклинится в этот щебет с посвистом и чириканием невиданный мной никогда чернолобый сорокопут, подаст голос козодой.

Где чья ария не разобрать, лишь кольчатую горлицу я выделяла из общего хора по хрипловатому: *ра-и-са! ра-и-са!* в наступившей тишине, ну и горихвостку с ее *фить-фить, тик-тик-фьююю* и пламенными перьями на попе.

Вообще, я к птицам равнодушна. В стране Челбахеб, например, куда наострил лыжи Флавий, росли деревья, плоды у которых — зеленые птицы. Да и у нас над Москвой обычная стая ворон, парящая в безнадежно сером, бетонного цвета небе — такая красотища!

Летели упоительные дни, часы, минуты, буквально каждый миг я впитывала всеми фибрами души, болтаясь по Евпатории, о которой тосковал Золотник, но никогда туда не возвращался, боясь увидеть не такой, какой она снилась ему ночами.

Он вроде не произносил названия улицы, где жила бабушка. А только вспоминал, что в окнах веранды ветки покачивались от легкого дуновения вечернего ветерка. Да и сохранился ли дом с крыльцом и окнами, в которые Илья любил смотреть, как в грустное зеркало, говорил он, где отражался уходящий день?

Все было облупленное, запущенное, ничего не работало. Территория дома отдыха поросла бурьяном, ни обещанного теннисного корта, ни проката ракеток и мячей. В составе «хвойно-жемчужных ванн» не доставало жемчуга и хвои. Электрочайник не грел, холодильник не морозил, вентилятор пора сдавать в музей, жаловался сосед по столу, упругий мачо, когда он его включал, боялся, что железными лопастями ему отхватит его естество.

Грязелечебницу Мойнаки, некогда всесоюзного значения, попросту звали «Маньяки». И в этом есть правда жизни, дело доведено до такой ручки, что маньякам там самое место. Зато им удалось на славу «пешие прогулки», «солнечные ванны» и «купание в море», в перечне услуг пансионата это называлось по-научному — *талассотерапия*.

И пустыри сплошь усеяны желтым адонисом. Сиреневый репейник и кровавый

пион царили среди разнотравья, огненного жару поддавал алый с черной отметиной опиумный мак, над буйством ароматов гудели шмели и пчелы. Майские жуки-бомбовозы так и норовили врезаться тебе в лоб, стрижи и ласточки подхватывали их на лету. Воздушный бой вскипал над головами на закате. И бесконечные аллеи акаций вечерами оглашались трелями соловьев.

— Дерево моего детства — белая акация, воздух, напоенный ее запахом, — говорил Илья Матвейч, блаженно прикрыв глаза, — и нет другого дерева в саду, которое могло бы вызвать столь же трогательные воспоминания в душе, чем абрикосовое. Самую большую любовь и счастье, какие можно вообразить, несусь я корням этих деревьев, чтобы они подняли мои дары в голубое небо...

Из ночи в ночь ему снились тихие уголки Евпатории, море, степь, виноградники — город, погруженный в безвременье. Каждый арочный свод узнавал он во сне, каждый портик и балюстраду, аркаду и колоннаду, каждый камень Гезлевских ворот, разрушенных турецких бань, синагоги, мечетей и каждую рытвину на дороге.

— Но почему-то совсем без людей, — удивлялся Илья Матвейч. — Хотя казалось бы: портовый город — турки, греки, румыны, цыгане, евреи, даже корейцы, вся южная окраина России бурлила в этом котле, — народищу полным-полно! Нет, снятся полностью безлюдные улицы в мельчайших подробностях, а ведь по молодости лет я их и запомнить-то не мог!

И всегда в этих снах проезжал трамвай. Старый трамвай, «единичка», он ехал через центр к Лиману, когда-то бабушка возила их с сестрой на нем в парк Фрунзе.

Все говорило о подлинности этого трамвая, он был такой же настоящий, как военный виллис с немецким офицером в кинохронике зимы 1942 года, который медленно двигался по тем же улицам, наблюдая гибель советского военно-морского десанта.

Образы рождались в тишине под покровом тьмы и не пропадали, когда Илья Матвейч просыпался, а проявлялись на потолке и даже на стенах, завешанных картинами, как в многослойном палимпсесте, сквозь небесные реки просвечивали старинные городские пейзажи.

Особенно вольготно сновидения располагались на полу, наполненные перезвоном колоколов, шумом прибора, запахами глициний, плюща, обвившего стены дома, орешника... Они вспыхивали так ярко, что окружающая действительность бледнела, уподобляясь миражу, — Илья даже терял ориентацию в пространстве.

Отец Абрикосов, которому он поверял свои сны, считал его фата-моргану классической белой горячкой, что было бы логично, учитывая склонность нашего героя к возлиянию, если б однажды, заглянув к нему в комнату, я не увидела собственными глазами медленно ехавший прямо на меня трамвай. Нормальный такой трамвай, как я теперь понимаю, старого образца, в натуральную величину.

— Берегись!!! — закричал Золотник, так что я отлетела к стене от желтой металлической морды вагона.

Взвизгнули тормоза, с потолка посыпались осколки разбитого плафона.

Словно из моего далекого детства — выплыл тот самый трамвай и остановился, открыв передо мной двери. Кто-то вышел, кто-то зашел, я поднялась по ступенькам, подумала: проедусь-ка до моей «Планеты» пару остановок.

Трамвай тронулся, заскрипел своими железными суставами. Я села на деревянную скамейку возле окна. Мимо проплывал город, одноэтажные желтые каменные дома, корявые стволы акаций, светофоры. Пассажиров было немного. Папаша с подростком, хмуро глядевшим в немытое окно, он ему что-то втемяшивал, а тот и слушать не хотел.

— Человек может освоить все, — говорил отец. — Даже рыбную ловлю. Ты видел хотя бы раз, чтобы я пошел на попятный?

Моряк с букетом роз — на набережной под часами его ждала вечная весна Боттичелли. Благодатная старушка в футболке, на спине у нее печатными буквами

написано FUCK. Небось внук отдал. А что? Чистый хлопок, в жару хорошо, тело дышит...

— Остановка «Гостиница "Крым"», следующая «Гортеатр», осторожно, двери закрываются...

Я ехала и улыбалась, что кругом так хорошо, что мне так повезло со всем на свете. В окнах отражались последние цвета гаснущего неба, те же потемневшие ветки акаций и абрикосовых деревьев. Какая-то беспредельная радость разлита была в тот вечер. Я бы хотела задержать его, остаться в нем жить. Запах водорослей, соли, синий воздух, синяя вода, белый песок и корзина черешни — больше ничего не надо для счастья.

Следующей весной мы с Пашкой приедем сюда дикарями, может, и Фёдор сподобится, почему нет? Посетим все молельни, зажжем благовония, будем пить кофе в татарском городе, горький турецкий — с пахлавой. Закажем «У Йозефа» местный цимес («Девочки мои! Нет ничего проще цимеса, — проповедовал теткам на кухне Илья Золотник. — Нарезаем кружочками морковь, нанизываем на нитку и варим с вишневым вареньем...»)

Купим свежих карасей размером с Федыкину ладонь и барабульку — с мой мизинец. Возьмем на рынке перцев, чеснока, сахарных помидоров, рожденных благодатной черноземной почвой, — здесь от нее самой шел аппетитный дух, не говоря об ароматах булочных, турецких, греческих, еврейских, дорожной пыли, немощеных улиц, добудем красного домашнего вина, устроим пир горой!

Кроны шелестели от свежести, ветра, голубизны, водяной взвеси у фонтанов. Трамвай не спеша продвигался по улице, позванивая зазевавшимся прохожим, потом покатил веселей вдоль приморского бульвара. На аллеях застыли живые скульптуры в клоунских трико и рыцарских доспехах. Чихнув или, к примеру, почесавшись, они пугали случайного прохожего из глубинки, решившего по простоте душевной, что это в точности такие истуканы, как голый бронзовый Геракл посреди колоннады набережной Горького, похищенный во времена оны коварной богиней Апой.

— И лишь родив троих сыновей, — рассказывала гид нашего пансионата Кася, — эта змея, а она была натуральная женщина-змея (!), *оторвала от сердца тужившего за родными краями Геракла...*

Поздним вечером придут к морю жонглеры — бить в барабаны, вращая огненные факелы, наполняя воздух керосинным смрадом.

Трамвай побежал веселей, миновал причал, старинную морскую аптеку, лодочную станцию, ротонду ресторана с осыпавшейся кафельной мозаикой, из чрева его изливался мощный лягушачий хор...

На выезде из города показался дворец, навеянный воспоминанием об Альгамбре, ввысь уносящийся лепниной: листвой, стручками и плодами ананаса, пролеты арок, сталактиты сводов с отбитыми цветными изразцами...

На диком пляже паслись кони, подбирали у кромки прибора водоросли...

Стушались сумерки. Трамвай опустел и мчался без остановок не пойми куда. Со скрежетом и лязгом он дал резко вправо, едва не опрокинувшись, хотя его одноколейка — прямая как стрела, и ездил он по краткому маршруту — от моря до вокзала и обратно.

Я стала дико озиаться: люди! Живые есть кто-нибудь?

Грибами пахло, листьями, сухой травой горелой, ветки заплескивались в приоткрытое окно, хлестали по стеклам. В окно впорхнула бабочка и заметалась по вагону.

— А вы куда едете? — спросил меня пожилой господин в пиджаке на майку, неожиданно вынырнув из полумрака. — Там дальше нет ничего.

— А где «Планета»? Мне нужна «Планета»!

— Планета? Какая? Марс? Плутон? Не знаю, не могу сказать, хотя я крымский

татарин. На «Спутнике» живу, моя остановка по требованию, — он вытянул указательный палец и нажал кнопку.

Ураганный ветер пронесся по вагону, огни фонарей слились в сплошной поток и погасли. Смазанной полосой, проложенной уверенной широкой кистью, тянулась бесконечная промзона, летели редкие домишки и заборы, написанные сильными короткими мазками. Что-то желтело в сумерках лиловых, вода поблекла, но красен был горизонт. Облачными клубами вздымались на море небесном волны, по ним скользила тоненькая лодочка луны, будто театральный задник для распахнутых крыльев бабочки с золотым узором на стекле, она то складывала их, пропадая из виду, то вновь появлялась.

Все в этой композиции решалось по отношению к небу, верхней части картины, а сквозь поверхностный слой просвечивали иные небеса, где в ореоле света угадывались очертания падающей в пропасть Элен и проступали бессловесные геометрические модули, видимо, художник только что отложил кисть и отошел от мольберта.

Над лесом звезд голубой ангел дул в длиннющую трубу. Это Сикейрос, наконец, поднес к губам диджериду и возвестил о невещественности бытия на грани ускользящего мира.

А за стеклом смутно обозначилась фигура вагонновожатого, который вел этот звездолет уже за пределами нашей галактики. Бабочка металась по вагону, оставляя на стеклах золотую пыльцу, трамвай качало из стороны в сторону, яркие вспышки света сменялись угольной темнотой, Цепляясь за ремни, я стала пробираться вперед, каждый шаг давался с трудом, но когда я вплотную приблизилась к двери кабины и прижалась лбом к стеклу, то увидела бурую горбатую спину и меховую башку с волосатым ухом.

Это был плюшевый медведь художника Золотника. Он смотрел по-человечески вдаль, положив на руль звериную лапу, потом обернулся, глянул на меня исподлобья единственным черным глазом, бесшумно остановил трамвай, двери открылись. И бабочка вылетела наружу.

— Картина «Три стороны камня» перед вашими глазами, друзья, рождающая глубокое душевное волнение, — разносился по залам певучий голос Агнес, ее богатый сочный тембр, — написана художником Ильей Матвеевичем Золотником, не самым известным, но достойным участником движения нонконформизма в СССР, характеризующая его как новатора и тонкого живописца. Он жил затворником, картины его не покупали, не выставляли, из творческого наследия осталась только эта работа...

Могу себе представить, какого труда Шимановской стоило водворить ее в Третьяковку!

Приемная комиссия артачилась:

— Музей не резиновый! А эти художники толпами ходят — «подарю да подарю!» Один до того дошел, что подбросил стопку холстов под музейную дверь, пришлось полицию вызывать, проверять, нет ли бомбы.

Однако сиятельной Агнес удалось убедить уважаемую коллегию, что «фигуры» Золотника являются классическим образцом неофициального искусства. Налицо все признаки: коммуналка, пьющий творец с сезонными обострениями, неустроенная жизнь, отданная без остатка служению Аполлону. А когда художник покинул этот мир, полотна перекочевали на помойку, где были случайно обнаружены. Последовала выставка-квартирник, сулившая мировую славу... Однако наследие художника погребло в огне пожара, за исключением «Трёх сторон камня» — трех бесформенных фигур, белых на белом, практически невидимых глазу, где он достиг вершины своего творчества.

— Ах, значит, на помойке? Эт-то интересно, — сказали важные эксперты в один

голос. — Эт-то серьезно, ровно так, как и должно быть у них, нонконформистов. Из грязи — в князи! — И благосклонно приняли «Три стороны...» в дар.

— Открытие, маленькое, но открытие! — с гордостью говорила Шимановская своим внимательным слушателям. — Причем, заметьте, что картина не случайно оказалась рядом с Вейсбергом, который близок Илье Золотнику в стремлении к тайной гармонии, где растворяется предметный мир, поскольку именно такая живопись дает возможность изведать то, что недоступно нашим пяти чувствам.

С тех пор, как сын взошел на трон Челбахеба, эта картина какой-то невидимой нитью связывала ее с ним. От Флавия была одна весточка, очень краткая, прилетевшая невесть откуда:

Я здесь
недалеко
всего 20 световых лет...

Но, как ни старалась Агнес обнаружить на карте Юго-Восточной Азии остров Балбедаоб, все напрасно. Не помогала даже лупа двадцатикратного увеличения!

Мы перелопачивали горы географической литературы, карты, схемы, дневники мореплавателей и землепроходцев — нигде, ничего.

Федя был как всегда в отлучке, он напал на какой-то след, по которому счел своим долгом идти, хотя знать не знал и не ведал, куда он ведет и ведет ли вообще куда-либо.

Поэтому Пашка подключил к розыскам своего учителя Игната Печорина, из семи тысяч пятисот островов Филиппинского архипелага побывавшего на пяти тысячах ста пятидесяти шести и знавшего островной район как свои пять пальцев.

— Балбедаоб, — твердо сказал Игнат, — это остров-призрак, обозначенный на карте Южных морей исключительно с 1560-х по 1660-е годы, как Земля Санникова или остров Святого Брендана. Так что вашему другу (а я думаю, он был в курсе, когда пускался в путь!) предстояло преодолеть не только Пространство, но и Время.

— ...Возможно, у кого-то возникнет вопрос: а эти фигуры, кто они? — продолжала рассказ Шимановская. — То ли три грации, то ли три ангела, то ли три грешника, ожидающие Страшного Суда. ...Или три солдата, идущие с караула, — добавила Агнесса, оглядывая группу зрителей — курсантов Суворовского училища.

Галерея шефствовала над училищем, и раз в месяц автобус к ним привозил суворовцев, чтобы ребята приобщались к искусству. Подростки, одетые в черную строгую форму с алыми погонами и золотыми пуговицами, ходили по выставке молча и строем, не шумели, экспонаты руками не трогали — идеальные посетители музея! После экскурсии чинно сидели в буфете — ели мороженое «пломбир», впитывая очередную порцию прекрасного.

Солнечный свет едва пробивался сквозь пыльный застекленный потолок Третьяковской галереи, залы музея опустели, одинокие зрители проходили мимо рядов картин, растворяясь в анфиладах. Вдруг одна картина вспыхнула, будто загорелась, — закатный луч пронзил потолочное стекло и упал на картину Ильи Золотника.

Задрожал, замерцал золотой свет, фигуры на картине ожили, бесплотные тени зашевелились, взмахнуло крыло, зашелестели одежды.

Солнце кануло за дома на той стороне Москвы-реки, и наступил вечер.